This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ

РАЗСКАЗЫ

1907

ПЕЧАТАЕТСЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ВЫШЛА

[illegible]

Pilskiĭ, Petr Moiseevich

ПЕТРЪ ПИЛЬСКІЙ

РАЗСКАЗЫ

STANFORD
LIBRARIES

1907

PG3476
P47A6
1907

Типографія Монтвида. Конная ул., д. № 3—5.

... Разсказы, составившіе эту книгу были напечатаны въ „Мірѣ Божіемъ“, „Журналѣ для всѣхъ“, московской газетѣ „Курьеръ“, газетѣ „Народный Вѣстникъ“, („Мысль“) „Бирж. Вѣдомостяхъ“, и написаны въ періодъ двухъ слишкомъ лѣтъ: 1902—1904.

Это была эпоха моихъ острыхъ исканій смысла жизни и, естественно, смысла смерти.

Ни до 1902 года, ни послѣ 1904 я не писалъ разсказовъ и тѣ изъ нихъ, которые появились въ печати позже, были извлечены изъ бумагъ прошлаго, или передѣланы изъ прежнихъ.

За эти годы измѣнилось мое отношеніе къ міру и людямъ, ушла молодая нѣжность, пришли суровые приговоры, я сталъ бодрѣй и смѣлѣй. Наблюдая самого себя, я, почти всегда писавшій исключительно о литературѣ, ставшій авторомъ разсказовъ на короткое время, думаю теперь, что въ извѣстный періодъ юношеской ломки каждый писатель—немного беллетристъ. И то обстоятельство, что уже три года, какъ я не тянусь къ разсказу, мнѣ доказало, что художникъ во мнѣ умеръ.

Книгу эту я считаю надгробнымъ камнемъ на могилѣ былого беллетриста.

Что еще сказать?

Большинство разсказовъ написано въ мартѣ.

Не знаю, почему.

СПБ. 24 апрѣля 1907 года.

Петръ Пильскій.

Что будетъ впереди.

I.

За горой, на тихой окраинѣ города, стоитъ деревянный церковный домикъ, одноэтажный, выкрашенный въ коричневую краску, съ тремя выходящими на улицу окошками.

Спитъ безшумная улица и нѣмой сонъ передается всей жизни коричневаго домика. Въ немъ всегда—глубокая тишина.

Тихо такъ, что слышенъ шелестъ обоевъ, прекращающійся только съ приходомъ гостей,—двухъ обычныхъ гостей.

Въ домикѣ ходитъ, обѣдаетъ и спитъ псаломщикъ и въ гостяхъ у него бываютъ тоже псаломщики; кромѣ хозяина, въ домикѣ живетъ еще кухарка, Мавра, рябая, сильная и тупая баба.

Каждый день, въ сѣрые часы сумерекъ, послѣ обѣда, псаломщикъ начинатъ ходить изъ угла въ уголъ, отъ зеленой кафельной печки—до образа и обратно. Онъ ходитъ методично, тихо ступая и заложивъ руки въ карманы, и когда кухарка спрашиваетъ:

— Егоръ Даниловичъ! пойдете куда сегодня?—онъ неизмѣнно отвѣчаетъ ей одной и той же фразой:

— Никогда нельзя знать, что будетъ впереди.—И продолжаетъ ходить опять по той же протоптанной и лоснящейся дорожкѣ—отъ кафельной зеленой печки до образа и обратно.

Если не придутъ псаломщики, онъ ложится на кровать и лежитъ, закинувъ руки за голову, и смотритъ въ потолокъ, въ то мѣсто, гдѣ отъ висѣвшей прежде лампы остался черный кружокъ копоти.

Клѣтчатая, темная рубашка виситъ на немъ, какъ на покойникѣ, и, какъ у покойника, безпомощно поникшіе лежатъ на его плоскомъ черепѣ бѣлесоватые рѣдкіе волосы; все лицо его какое-то напряженное и испуганное, словно самъ псаломщикъ вѣчно находится въ ожиданіи какой-нибудь бѣды, или непріятности.

Въ восемь часовъ онъ медленно привстаетъ, раздѣвается и ложится спать.

Когда же псаломщики приходятъ въ гости, то всѣ трое садятся за столъ, зажигается лампа и Егоръ Даниловичъ подолгу смотритъ то на одного, то на другого, и, наконецъ, произноситъ:

— Метель...

Или:

— Грязно...

Онъ всегда старается сказать непремѣнно такое, что не выдало бы его настоящихъ мыслей этой минуты, и когда онъ, въ дѣйствительности, собирался итти въ епархіальную библіотеку, или на кладбище,—гдѣ онъ любилъ бывать, онъ старался зѣвнуть и лѣниво говорилъ:

— Усталъ...

А коренастый Иванъ Ивановичъ, псаломщикъ церкви

Петра и Павла, съ черной и круглой, какъ у деревянныхъ куколъ, головой слушалъ его съ такимъ видомъ, какъ будто въ эту минуту изрекалось откровеніе. Иванъ Ивановичъ любилъ говорить о томъ, что, вотъ, скоро онъ будетъ священникомъ, женится, по воскреснымъ днямъ у него будетъ готовиться пирогъ, и копилъ деньги. Одѣвался онъ грязно и неряшливо, и рубашка у него давно уже потеряла не только бѣлый, но и сѣрый цвѣтъ, и теперь была какая-то землисто-темная.

Третій, Григорій Дмитріевичъ, слывшій здѣсь за человѣка тонкаго воспитанія и аристократа, стараясь говорить, какъ можно, мягче, насколько это позволялъ ему голосъ, обыкновенно замѣчалъ:

— Какъ не надоѣстъ говорить все объ одномъ и томъ же!—и предлагалъ послать за виномъ. Изрѣдка это предложеніе принималось, и когда нѣсколько рюмокъ сообщали тѣлу псаломщиковъ пріятную теплоту, Иванъ Ивановичъ начиналъ вспоминать, какъ въ позапрошломъ году онъ,сильно выпивши на свадьбѣ дочери священника въ д. Слады, чуть не сдѣлалъ предложеніе сестрѣ отца діакона, а Егоръ Даниловичъ при каждомъ его словѣ тихонько хихикалъ въ свою тощую и рѣдкую бороденку.

Только разъ—и это помнятъ оба псаломщика—Егоръ Даниловичъ неожиданно поднялся съ рюмкой вина и громко крикнулъ:

— Расшибу... сейчасъ!..

Всѣ ахнули отъ неожиданности, а Егоръ Даниловичъ конфузливо опустилъ рюмку и, засмѣявшись тихимъ, глупенькимъ смѣхомъ, съ выступившими на глазахъ слезами, сѣлъ на свое мѣсто, и послѣ больше, чѣмъ въ теченіе мѣсяца, не смѣлъ смотрѣть въ глаза ни Григорію Дмитріевичу, ни Ивану Ивановичу.

Иногда ему думалось о томъ, что хорошо было бы имѣть власть и силу, чтобы всѣ уважали и боялись, какъ, напримѣръ, теперь уважаютъ и боятся отца протоіерея, котораго одинъ взглядъ приводитъ въ трепетъ и клиръ, и причтъ. И однажды онъ рѣшился осмѣлиться.

Онъ вспомнилъ, что Мавра наканунѣ не принесла ему шубы въ церковь, хотя онъ всегда, уходя, говорилъ ей—даже въ теплую погоду:

— Быть можетъ, будетъ холодно... Тогда принеси мнѣ что-нибудь потеплѣй.

Но такъ какъ изъ теплыхъ вещей у него была только одна шуба, то, слѣдовательно, её и нужно было принести.

И онъ направился въ кухню и по дорогѣ, тихо двигаясь, съ насупленнымъ лицомъ и жадной радостью въ глазахъ, думалъ, какъ онъ сейчасъ рявкнетъ и закричитъ на Мавру:

— Почему вчера не была принесена шуба?

Но когда вошелъ въ кухню и увидѣлъ заплывшее сонное лицо, то пощипалъ свою бородку, помялся на мѣстѣ и сказалъ:

— Что... меня никто не спрашивалъ?...

. . . . . .

Въ январѣ мѣсяцѣ въ церкви былъ храмовой праздникъ и рѣшено было обновить ризы иконъ, купить новыя облаченія и за покупкой нужно было ѣхать въ Москву. Выборъ палъ на Егора Даниловича и ему слѣдовало отправиться на третій день. Но эта спѣшность его такъ испугала, что онъ пошелъ къ протоіерею и сбивчиво, растягивая слова и фразы, сталъ умолять—уволить его отъ этой миссіи. Не получивъ согласія на это, онъ сумѣлъ упросить объ отсрочкѣ и, растерянный, озадаченный, вернувшись домой, сталъ

укладывать все, что только было въ маленькомъ домикѣ—вплоть до шторъ, сахару и чаю; на вопросы же видѣвшихъ это и недоумѣвавшихъ: „зачѣмъ понадобилась такая большая укладка?“—отвѣчалъ, что трудно предугадать, что можетъ встрѣтиться въ пути, и что никогда вообще нельзя знать, что будетъ впереди.

У всѣхъ людей была какая-нибудь прицѣпка къ жизни и только у Егора Даниловича не было никакой: родителей у него не было, друзей настоящихъ—тоже, а женской любви онъ не зналъ совсѣмъ, и когда читалъ романы, то искренно вѣрилъ, что все въ нихъ, отъ начала до конца, вымыселъ и сочиненіе: такъ все это было не похоже на его жизнь, ничѣмъ не напоминая и потому ничѣмъ ее не скрашивая и не облегчая.

Что то похожее на человѣческую страсть въ немъ будило церковное пѣніе. Въ церкви Егоръ Даниловичъ подпиралъ щеку лѣвой рукой и въ лирическихъ—мягкихъ и грустныхъ—мѣстахъ тихо подпѣвалъ хору. Лицо его выражало неопредѣленную мечтательность и умиленіе и только глаза, по обыкновенію, неизмѣнно были испуганы и смотрѣли съ недоумѣніемъ и безпокойствомъ, чего-то ожидая боязливо и нерѣшительно. Такъ шла вся его жизнь.

II.

Но случилось такъ, что застрѣлился сынъ мѣстнаго купца, наслѣдникъ перваго богатѣя въ городѣ.

Онъ влюбился въ проѣзжую піанистку, худенькую дѣвушку съ яснымъ взглядомъ. Сначала думалъ взять ее деньгами, а когда та не поддалась на это, сдѣлалъ ей формальное предложеніе, но получилъ отказъ.

Піанистка уѣхала, а купеческій сынъ запилъ. Пилъ нѣсколько дней подрядъ, и однажды, когда никого не было въ домѣ, застрѣлился. Это было неожиданностью для всѣхъ, не только постороннихъ, но и домашнихъ купца, и никто не хотѣлъ вѣрить, что это случилось черезъ любовь, и говорили, что это отъ запоя.

Хоронилъ купца причтъ церкви святого Знаменія и священникъ, и дьяконъ, и дьячекъ радовались, что выпало хоронить купца на долю именно ихъ, и въ маленькой улицѣ съ церковными домиками волновались всѣ: жены и дѣти, кухарки и даже мальчики на побѣгушкахъ.

Егоръ Даниловичъ ходилъ весь этотъ день изъ одного церковнаго домика въ другой и слушалъ, какъ тамъ говорятъ, судятъ и волнуются люди по поводу нежданной смерти и предстоящихъ похоронъ богатаго человѣка. А вечеромъ легъ раньше обыкновеннаго и долго не могъ заснуть.

Во все время похороннаго обряда онъ долго и внимательно смотрѣлъ въ полное и красивое лицо умершаго и недоумѣвалъ передъ однимъ: какъ могъ такой сильный, довольный и богатый человѣкъ, пользовавшійся почетомъ и полнотой жизни, такъ легко разстаться съ ней изъ-за блѣдной и худенькой дѣвушки.

Старый купецъ, отецъ покойнаго, трясясь всѣмъ тѣломъ, и часто моргая глазами подъ густыми сѣдыми бровями, плакалъ тяжелыми слезами послѣдняго старческаго горя, выла маленькая старушенка, мать, и дѣлали видъ, что плачутъ, остальные—жившіе при купеческомъ домѣ и въ магазинѣ люди.

Когда пѣли: „идѣ же нѣсть болѣзни—печали“, и сизыя струйки кадильныхъ куреній лѣниво качались

въ сыромъ воздухѣ, Егоръ Даниловичъ смотрѣлъ мечтательно куда-то въ даль и на его тонкія и безкровныя губы просилась улыбка...

Послѣ похоронъ псаломщикъ исчезъ.

Не было его ни на поминальномъ обѣдѣ, ни на вечернемъ засѣданіи въ епархіальной библіотекѣ, и къ ночи даже равнодушная Мавра стала волноваться и даже пошла справиться по церковнымъ домикамъ,— гдѣ онъ.

..А псаломщикъ шелъ.

Быстрыми, торопливыми шагами онъ направлялся на кладбище,—гдѣ онъ любилъ бывать.

Полы пальто, незастегнутаго и широкаго, трепались между ногъ и путались отъ непривычно скорой походки.

Онъ пришелъ и сѣлъ.

Вдали, со стороны города, блестѣли желтые огни въ подслѣповатыхъ окнахъ и одинокихъ фонаряхъ и, казалось, мучались своими темницами и хотѣли уйти оттуда къ нему...

Снѣжная равнина молчала, будто ждала того конца, къ которому придутъ мысли псаломщика.

Деревянные кресты, треугольные и прямые, подѣлили между собой спящее человѣчество: подъ треугольными легли слабые и замученные жизнью, подъ прямыми схоронили себя борцы, силившіеся сломить ея неправду.

И эти простыя фигуры говорили ему: „Все просто. Нѣтъ ничего ни страшнаго, ни загадочнаго... есть только прямыя линіи, кратчайшія и простѣйшія“...

И кругомъ повсюду вѣяло такимъ глубокимъ ненарушимымъ покоемъ, такой полнотой отдыха, что псаломщикъ сразу просвѣтлѣлъ: онъ понялъ, что средство

успокоиться—одно,—сдѣлать съ собой то, что считалось до этой минуты самымъ ужаснымъ, страшнѣе чего не было и не можетъ быть, и предъ чѣмъ блѣднѣютъ всѣ человѣческія сомнѣнія.

И какъ человѣкъ, спускающійся по шаткой и ветхой лѣстницѣ въ черную глубину пропасти, долженъ непремѣнно подумать о томъ, что лучше сразу слетѣть внизъ, чѣмъ опасаться этого каждую минуту и каждую минуту мысленно летѣть туда,—такъ и псаломщикъ рѣшилъ сойти въ самый низъ, въ самую глубь, гдѣ еще есть признаки человѣческихъ жизней, хотя бы и оставшихся только въ прошедшемъ.

А надъ снѣжной равниной лежало небо, необычное въ своей сумрачной красотѣ.

Кто-то смѣлой рукой набросалъ по его огромной половинѣ безконечныя ткани кумачу: такое оно было кровавое и оттого угрюмое и страшное.

И отъ его отсвѣтовъ по бѣлому снѣгу побѣжали розовыя полоски, какъ будто отъ пролитой давно и уже выцвѣтшей крови. Одна изъ нихъ легла рядомъ съ псаломщикомъ, и розовые отливы земли подъ кровью угрюмаго неба еще разъ всколыхнули душу человѣка боязливымъ трепетомъ предсмертной радости...

На другой день кладбищенскій сторожъ, обходя участки мертвыхъ, увидѣлъ на деревѣ, которое росло при могилѣ богатаго купца, повѣсившагося псаломщика.

И наклоненная впередъ голова,—внимательная и напряженная,—производила такое впечатлѣніе, какъ будто хотѣла что-то сказать этой могилѣ и скрытому въ ней человѣку,—открыть какой-то секретъ, быть можетъ,

тайну трусливой и раздавленной жизни, разгадку того, какъ слѣдовало имъ обоимъ жить среди сильныхъ и живыхъ людей, чтобы не кончить съ собой такъ нелѣпо и нехорошо.

Никто не удивлялся этому концу, никто не убивался о немъ, покончившемъ земные счеты.

Послѣднее цѣлованіе отдали ему тѣ два псаломщика, которые заходили къ нему по вечерамъ. Мавра же не плакала и даже не была въ церкви: ее взяли нянькой къ ребенку дьякона.

Унылый снѣгъ ровными хлопьями шелъ въ это утро.

Бѣлое небо лежало надъ церковью, медленно ударялъ языкъ колокола по мѣднымъ краямъ и гулко разносился ровный звонъ, возвѣщавшій объ умершемъ человѣкѣ.

Гробъ стоялъ посрединѣ небольшой полутемной церкви, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ и купецъ.

Лицо у покойнаго было попрежнему какимъ-то странно-изумленнымъ, словно онъ самъ не ожидалъ такого конца и удивлялся своей собственной смѣлости.

Но губы улыбались въ сознаніи покоя и хотѣли сказать: „нельзя знать, что будетъ впереди“.

А въ опустѣвшемъ домикѣ, на дальней улицѣ, за горой было тихо-тихо.

...Только шелестѣли обои и стучала каплями вода въ жестяномъ умывальникѣ.

Январь.
1902 г.

Подруги.

Стояли розовыя сумерки.

Было шесть часовъ вечера и напротивъ, въ церкви шла служба, горѣли огни и въ распахнутыя двери были видны молящіеся и кадильный дымъ, колыхавшійся сизыми струйками. Софія Михайловна лежала на подоконникѣ и слышала, какъ разсказывала Катя о своей жизни.

— Да, и не вышла. Когда, бывало, гимназисткой, спѣша съ урока, я проходила темнымъ вечеромъ мимо освѣщенныхъ оконъ и въ нихъ видѣла, какъ горятъ лампы въ цвѣтныхъ абажурахъ, кипитъ самоваръ и мило бесѣдуютъ вокругъ него люди, такіе добрые, покойные и довольные, мнѣ казалось тогда, что здѣсь грѣется само счастье. Потомъ я присмотрѣлась, узнала, что покоя и счастья нѣтъ нигдѣ, что семейная жизнь вездѣ таитъ свою печаль, или драму, и что вездѣ люди суетятся, враждуютъ и не знаютъ ни себя, ни своего дѣла... И семейная жизнь отъ всего этого кажется страшной и отвѣтственной. Потому и замужества не искала. А не ища, выходятъ только очень красивыя, или очень богатыя. Но я и не жалѣю...

Екатерина Васильевна, или Катя, какъ просто, на правахъ подруги по гимназіи, ее называла Софія Михайловна, была сельской учительницей, и въ городъ пріѣхала за три дня до ея именинъ, 14-го сентября. Софія Михайловна слушала ее, смотрѣла по сторонамъ, въ оба конца улицы и думала: „И вечеромъ тоже не придетъ. Не пришелъ утромъ съ поздравительнымъ визитомъ, не придетъ и вечеромъ. Это потому, что не пускаетъ та“.

— Не скажу, чтобъ очень скучно было,—продолжала Екатерина Васильевна.—Веселья, конечно, большого нѣтъ, но устаешь каждый разъ такъ, что скучать некогда. Кромѣ того, привычка. Правда, поговорить почти не съ кѣмъ—все одна, да одна, но, собственно, и времени нѣтъ говорить. Староста—человѣкъ хорошій, и живемъ въ ладу. Дѣтишки тоже привязаны...

„Не придетъ и не надо. Посмотримъ еще, кто сдѣлаетъ первый шагъ. Возьму завтра же и пойду подъ руку съ Зуевымъ мимо его квартиры. Вотъ тогда и посмотримъ.“

— За то лѣтомъ одна благодать. Лѣсъ, теплынь, парное молоко, запахъ сѣнокоса. А у васъ въ городѣ, какъ посмотришь, усталость, пыль, сплетни, заботы...

„А не пойти ли мнѣ въ учительницы?“ подумала Софія Михаиловна: „вотъ возьму на зло ему и пойду. Вотъ и узнаетъ.“

Что именно изъ этого долженъ былъ узнать Гревицкій, она еще не опредѣлила себѣ ясно, но совершенно отчетливо представила и его тоску, и его растерянный испугъ, когда она уѣдетъ въ учительницы, броситъ семью и мужа и будетъ трудиться гдѣ-то далеко, въ глуши, въ занесенной злыми сугробами избѣ. И предъ ея глазами уже встала вся картина его рас-

каянія, его слезъ и ужаса, и его умоляющее и страстное письмо, въ которомъ онъ будетъ просить ее о пріѣздѣ, клянясь въ любви, или,—съ почтительной сдержанностью,—о разрѣшеніи навѣстить ее въ уединеніи. И въ головѣ Софіи Михайловны проносились стихи Апухтина:

„Забудь былое горе,
Приди, приди ко мнѣ! Прими былую власть!
Здѣсь море ждетъ тебя, широкое, какъ страсть,
И страсть широкая, какъ море!...“

Никакого моря, положимъ, здѣсь не было. Городокъ былъ маленькій, забытый Богомъ, бѣлый и желтый, тихій во всѣ дни недѣли, какъ кладбище, съ неловкими, застѣнчивыми деревянными домишками, боязливо сдвинувшимися въ кучу къ центру города, и шумный только по праздникамъ, когда на базаръ пріѣзжали на заморенныхъ лошаденкахъ свѣтловолосые бѣлоруссы.

„Вотъ тогда и увидимъ“. На письмо она ему не отвѣтитъ. Или, пожалуй, и отвѣтитъ, но пріѣхать—ни за что. Къ ней,—если ужъ такъ хочетъ,—пусть пріѣзжаетъ.

О, она его съумѣетъ принять! Спокойная, безстрастная, она проведетъ его по всѣмъ комнатамъ школы, покажетъ дѣтскіе глобусы и тетради, спальню учениковъ.

— Одно неудобство только тѣснота,—говорила между тѣмъ Екатерина Васильевна.—Вотъ, въ такой же маленькой комнатѣ, какъ твоя столовая, приходится учить сорокъ-пятьдесятъ человѣкъ дѣтей. Конечно, атмосфера ужасная. Изъ оконъ дуетъ и съ полу тоже.

„Ну, и пріѣхать не позволю“, рѣшила Софія Михай-

ловна,—„гдѣ-жъ я его приму тамъ! Для женщины нужна рамка, а въ такой конурѣ никого и принять нельзя... И вообще, воображаю, какъ все это нестерпимо скучно...“

Екатерина Васильевна уже сбилась съ тона. Раскрывая все больше свою душу, она незамѣтно перешла изъ спокойнаго въ нервный тонъ горячности и уже не разсказывала, а жаловалась.

— Дѣти немытыя, нечесаныя, неграмотныя. Задавать уроковъ невозможно. Нѣтъ ни учебниковъ, ни картъ, ни досокъ. У многихъ даже нѣтъ возможности заниматься дома. Всюду грязь и грубость, и темнота; кажется даже, и школу затопитъ это невѣжество, эта нечистота, и равнодушіе.

Въ голосѣ ея звенѣла нотка злобы, и голова опустилась ниже, и говорила она уже неохотно, а словно принуждаемая, поневолѣ.

„Нѣтъ, въ учительницы не стóитъ идти“,—мысленно заключила Софія Михайловна. „Напишу лучше ему... рѣшительно и прямо, кончу разомъ.“

И она поднялась съ подоконника, пошла въ кабинетъ мужа и написала: „Я знала, что Вы не придете даже поздравить меня, хотя это и невѣжливо, потому что у насъ Вы бывали всегда до сихъ поръ. Богъ съ Вами, но хоть бы для мужа ужъ сдѣлали это, съ которымъ Вы считаетесь товарищами и даже пьете всегда вмѣстѣ. Очень возможно, что на-дняхъ я уѣду отсюда совсѣмъ“. Слово „совсѣмъ“ она подчеркнула, немного подумала, и докончила: „Вы не откажете увидѣться со мной на прощаніе, чтобъ объясниться окончательно, Я не хочу разстаться врагами и прощаю Вамъ все. Приходите, какъ прежде, въ два часа ко второму мосту“. Въ концѣ она многозначительно поставила иниціалы.

Часа черезъ два пришли гости, большею частью акцизники, сослуживцы мужа Софіи Михайловны, и четыре офицера: Зуевъ, высокій Риппъ, тонкій и вѣжливый полякъ Жоржевскій и хохолъ Галушенко. Пили чай съ коньякомъ и ромомъ, на два столика играли въ винтъ, и Софія Михайловна съ Катей сидѣли въ гостиной вдвоемъ, слушали карточные споры въ сосѣдней комнатѣ и тихо говорили, —Катя опять о своей жизни, а Софія Михайловна о своей любви къ Гревицкому и о томъ, какъ всѣ за ней ухаживаютъ.

И обѣимъ было грустно. Катѣ—оттого, что въ этой свѣтлой и нарядной комнатѣ съ мягкой мебелью было теплѣе и уютнѣе, чѣмъ въ ея деревенской избѣ; Софіи же Михайловнѣ отъ тайнаго сознанія, которое тихо шептало ей, что никакого успѣха у нея нѣтъ, что Гревицкій ее не любитъ совсѣмъ, и что она это знаетъ и только не признается.

Въ началѣ перваго часа вышелъ мужъ Софіи Михайловны, на крѣпкихъ и толстыхъ, небольшихъ ногахъ, и торопливо спросилъ:

— Ужинъ готовъ у тебя?

И потомъ всѣ ужинали, много пили, и акцизники говорили о предстоящемъ въ январѣ введеніи винной монополіи, а офицеры о первомъ танцовальномъ вечерѣ, который долженъ быть въ воскресенье. Около Софіи Михайловны сидѣлъ Зуевъ, подливалъ ей вина, чокался и пилъ за ея здоровье.

Послѣ ужина всѣ опять сѣли играть, но уже въ штоссъ, Катя устала и легла спать, а Зуевъ снова подсѣлъ къ Софіи Михайловнѣ и сталъ говорить ей о своей любви, то самое, что говорилъ и въ прошлый разъ, когда они также сидѣли вдвоемъ послѣ ужина въ день именинъ мужа.

— Вы у насъ первая... единственная... Я васъ люблю до самозабвенія, но бросьте Гревицкаго. Онъ не стоитъ васъ. Онъ все время у Мишутиной... а вы молоды, прекрасны...

И Софія Михайловна вспомнила, какъ Зуевъ и въ прошлый разъ называлъ имя Мишутиной рядомъ съ Гревицкимъ, и подумала, что у нихъ, и въ самомъ дѣлѣ, что-то есть и раньше было.

Глаза Зуева покрылись туманной и грустной влагой, заплетался языкъ и губы отъ времени до времени ловили руку Софіи Михайловны. И ей былъ противенъ онъ со своей волосистой бородавкой на лѣвой щекѣ, и эти пьяные глаза, нагло смотрѣвшіе, и вся его хитро и самодовольно покачивавшаяся фигура.

Когда гости разъѣхались, у нея явилась боль въ головѣ,—отъ утомленія и вина, которое она пила за ужиномъ. Софія Михайловна раздѣлась и легла, и теперь, въ постели, ей казалось, что совершенно безразлично—придетъ, или не придетъ Гревицкій на свиданіе, отвѣтитъ на письмо, или промолчитъ. Потомъ, когда она уже стала засыпать, пришелъ мужъ, зажегъ лампу, застучалъ и Софія Михайловна проснулась.

— Сегодня выигралъ... рубль сорокъ шесть...—сказалъ мужъ, силясь стянуть съ ноги узкій сапогъ.

На другой день съ утра шелъ дождь, было пасмурно и холодно, и Софія Михайловна, какъ встала, рѣшила, что свиданіе съ Гревицкимъ, все равно, не состоится. А когда мужъ ушелъ на службу, деньщикъ Гревицкаго принесъ отвѣтъ, и торопливой украдкой передалъ его ей изъ рукава.

— Отвѣта дожидаться баринъ не приказали,—доложилъ онъ, получилъ какую-то монету и вышелъ.

Письмо было хорошее. Гревицкій писалъ въ немъ, что будетъ ждать, какъ сказано, у второго моста, и Софія Михайловна, читая, ни разу даже не моргнула,— такъ было сильно нервное напряженіе и нетерпѣніе, съ которымъ она ждала своего приговора. И счастливая, и радостная, она быстро одѣлась и ушла, и вернулась вся сіяющая, съ блестящими глазами, и какъ только раздѣлась, кинулась на шею Кати и воскликнула:

— Ахъ, какая ты бѣдная, Катя! Ахъ, какая бѣдная!

И она стала покрывать поцѣлуями ея голову и тонъ словъ былъ такой искренній, сердечный и жалостливый. И послѣ этого плакали обѣ. Катя положила свою голову на грудь Софіи Михайловны, и слезы частыми каплями бѣжали по маленькимъ морщинкамъ ея лица, и вся она, сгорбившаяся, со свѣсившейся головой, казалась безо времени состарившейся, никому ненужной, и точно единственный ея пріютъ и отдыхъ былъ только здѣсь, на груди Софіи Михайловны.

Но вскорѣ обѣ утѣшились, и Софія Михайловна ласково гладила Катю по головѣ и конфузливо, вытирая глаза, говорила:

— Какія мы глупыя обѣ! ахъ, какія глупыя!

И обѣ смѣялись, а Катя держала въ своихъ огрубѣвшихъ рукахъ тонкую и нѣжную бѣлую руку подруги и сквозь улыбку все еще слегка всхлипывала и вздыхала.

Черезъ четыре дня послѣ именинъ, 21-го сентября, было открытіе сезона въ офицерскомъ клубѣ и первый въ году балъ. Весь этотъ день Софія Михайловна суетилась, бѣгала по лавкамъ, завивалась и все приговаривала:

— Нѣтъ, нѣтъ, Катя, сегодня ты не уѣдешь. Нѣтъ, и не говори. Сегодня ты не смѣешь уѣхать!

И просила Катю то подать, то приколоть, помочь завиться и одѣться, и когда сидѣла передъ зеркаломъ, то любовалась собой и думала: „Какъ постарѣла Катя и какая она жалкая“. И отъ этого внутри что-то весело прыгало и сама она дѣлалась все добрѣй и красивѣй, и выраженіе лица стало игривое и немного вызывающее.

Совсѣмъ уже готовая, въ передней,—чтобъ не испортить прически—въ платкѣ, и въ ротондѣ,—чтобъ не смять платья,—она остановилась передъ Катей и, смотрясь въ зеркало, еще разъ спросила:

— Такъ непремѣнно уѣзжаешь?—и медленно провела языкомъ по губамъ,—чтобъ были еще краснѣе.

— Непремѣнно,—отвѣтила Катя и прибавила стараясь говорить беззаботно:—нужно... дольше нельзя...

Онѣ простились и за порогомъ Софія Михайловна крикнула ей:

— Смотри же, пріѣзжай. Буду ждать. Только передъ тѣмъ напиши. Слышишь? Ну, прощай.

А черезъ часъ Катя тряслась въ телѣжкѣ.

II.

Путь ея лежалъ черезъ весь городъ, къ шоссе, и проѣзжать нужно было мимо офицерскаго клуба. Залъ былъ освѣщенъ такъ ярко, что на улицѣ стало, какъ днемъ, и около клуба и напротивъ стояли кучками люди и мальчишки пальцами показывали на окна, и всѣ слушали музыку съ какимъ-то благоговѣніемъ и жадностью.

Играли вальсъ, и мечтательные звуки, немного волнующіе, немного грустные, немного сладкіе, казалось,

тоже свѣтили, какъ огни, но освѣщали они не улицу, а весь пройденный длинный путь Катиной жизни, напоминая о прошлыхъ надеждахъ, о лучшихъ дняхъ и о томъ, какъ подъ тотъ же мотивъ она танцовала въ гимназіи, и грустя вмѣстѣ съ ней о настоящемъ, о тоскѣ и заброшенной деревушкѣ съ грязью, которая стоитъ теперь тамъ по случаю осени.

И пѣли эти звуки такъ, какъ будто плакали и жалѣли, что Катя ихъ больше не услышитъ, и что ея дни, и темные вечера, и глухія тревожныя ночи, и вся ея одинокая дѣвичья жизнь приходятъ, плывутъ и уходятъ безъ огня, безъ искръ и безъ пѣсенъ.

И Катѣ вспомнились слова подруги: „Ахъ, какая ты бѣдная, Катя! Ахъ, какая бѣдная!“

И Катя заплакала, и, въ тактъ телѣгѣ, одна за другой по съежившемуся лицу ея катились слезы, и никто не видѣлъ ихъ, кромѣ стоявшихъ по бокамъ дороги березокъ. Онѣ наклонялись другъ къ другу и, видимо, шопотомъ, тихо-тихо, передавали о Катиномъ горѣ и слезахъ. А въ это время въ танцовальномъ залѣ Софія Михайловна ходила подъ руку съ Гревицкимъ, и онъ убѣждалъ ее:

— Какая ты странная, право,—изъ-за каждаго пустяка готова серьезно ссориться!

А Софія Михайловна въ отвѣтъ спрашивала:

- А съ Мишутиной ты не будешь танцовать? Ну, скажи, что не будешь?..

- Ахъ, какая ты странная,—отвѣчалъ онъ,—какъ же я не буду съ ней танцовать, разъ я пригласилъ ее?..

И такъ какъ въ это время на нихъ обоихъ смотрѣли всѣ дамы и въ ихъ числѣ и Мишутина, то Софія Михайловна дѣлала счастливыя и довольныя улыбки,

кокетливо заглядывала, какъ балованное дитя, въ лицо Гревицкому и молила:

— Не танцуй съ ней. Ну, милый, ну, хорошій, не танцуй съ ней! Она—скверная, я ненавижу ее. Не танцуй!

Потомъ, не слыша его отвѣта, взяла его тихонько за руку и прошептала:

— Ей-Богу, я сейчасъ расплачусь, ей Богу... Такъ нельзя... Ты... ты...

И, высвободивъ руку, быстро побѣжала въ уборную. а тамъ не выдержала и расплакалась. Но боясь, что войдутъ и увидятъ ее со слезами на глазахъ, встала, поспѣшно вытерла глаза, и подойдя къ столу, гдѣ игралъ мужъ, произнесла утомленнымъ голосомъ:

— Слушай, поѣдемъ домой. Я нездорова.

И по дорогѣ думала: „Какая счастливая эта Катя! Ахъ, какая я глупая! Какая жалкая...“

Май.
1902 г.

Зарево.

I.

Уже не разъ возставали узники въ этой тюрьмѣ, мстя за гнетъ.

Рычали они, и тряслись, и рыдали въ безсильной жаждѣ мщенія, и ничто не измѣнялось въ ихъ судьбѣ.

И тогда они убили смотрителя.

II.

Въ боязни новаго приступа безумнаго гнѣва, ища путей успокоенія, рѣшили имъ дать смотрителя похитрѣй и ловчѣй, чтобъ заключенные любили его и уважали. И для этого выбрали лукаваго предателя. И новый смотритель сталъ ихъ каждый день кормить и водилъ гулять и даже съ нѣкоторыхъ снялъ звенящіе кандалы. И желая расположить къ себѣ ихъ—слабыхъ, больныхъ, и безправныхъ, томящихся въ неволѣ толстыхъ стѣнъ,—лишенныхъ воздуха и свѣта, онъ захотѣлъ имъ дать отраду—зажечь огни, и въ вечеръ Рождества Господня устроилъ елку.

Но нельзя было привести сюда всѣхъ.

Опаснымъ и страшнымъ считали это зрѣлище для сердца смѣлыхъ, для мечтаній гордыхъ, для силы сильныхъ.

И двери отворились только для тихихъ.

Блѣдные и удивленные, вошли они на необычный праздникъ, гдѣ вѣчно-зеленое дерево, колючее, но распускавшее вокругъ здоровый запахъ далекихъ лѣсовъ, горѣло сверху донизу безмѣрнымъ множествомъ цвѣтныхъ свѣчей.

И робко, съ пугливой манерой рабовъ, долгіе годы сидѣвшихъ безъ свѣта и воздуха, опекаемыхъ повелительными голосами, заключенные стали вокругъ сіявшей елки и улыбались, и радовались, какъ дѣти. Но было въ ихъ взглядахъ и поступи что-то неувѣренное и наивное, безсмысленное, тревожное и потому страшное, а неувѣренныя улыбки селили въ сердцахъ всѣхъ предчувствіе бѣды, грозной и нежданной.

Необыченъ былъ видъ блестѣвшаго огнями дома, всегда такого холоднаго, хмураго и тяжелаго, и на улицѣ собирались люди,—тѣ, которые не были еще заключены и ходили на свободѣ,—и пожимали плечами, и говорили:

— О, какъ странно и какъ свѣтло!

III.

А шумъ и говоръ, и огни все увеличились, все росли, и звуки плыли туда, гдѣ, на крѣпкихъ желѣзныхъ замкахъ запертые, сидѣли смѣлые.

И навстрѣчу этимъ звукамъ елочнаго зала поднимался изъ камеръ глухой гулъ: какой-то вой большихъ больныхъ грудей несся оттуда—и такая злоба

крушенія и муки тоски слышались въ немъ, что обрывалось сердце и боязливый ужасъ наполнялъ душу слышавшихъ.

Нетерпѣливые и смѣлые вскакивали, подбѣгали къ стѣнамъ и дверямъ и бились въ нихъ своими тѣлами и головой, и падали, и снова вставали, и все слышнѣй и грознѣй несся вой, смѣшанный съ плачемъ.

Отъ него тускнѣли свѣчи елочныхъ огней, и въ наивное веселье тихихъ врывались ноты скорби и мѣшали радоваться, и прерывали праздникъ.

И уже тихіе начинали волноваться и буйствовать.

И тогда раздался голосъ старшаго, гнѣвный и повелительный:

— Мычащихъ скотовъ, что мѣшаютъ порядку, отвести въ желѣзный замокъ!

И, робко повинуясь, служители отворили двери зала.

Чернымъ тяжелымъ туманомъ стала тьма въ далекихъ казематахъ.

И не двигалась, и молчала, будто боялась людей и огней. Все пространство тюрьмы залила она черной волной и уже готова была населить своимъ чернымъ свѣтомъ елочный залъ, и боялась.

Не двигалась и молчала.

И ждала конца: когда послѣдніе огни потухнутъ.

И, взявъ факелы, призвавъ сторожей, гремя и звеня связками ключей, смотритель пошелъ туда, откуда росъ глухой и грозный вой.

Внутри большого двора, какъ кольцомъ охватывая его, стоялъ желѣзный замокъ, куда скрывали, запирая смѣлыхъ, чтобы не слышать ихъ криковъ протеста, ихъ угрозъ и злобы.

Сумрачное и таинственное въ этой вечерней мглѣ,—

послѣ елочныхъ огней,—оно сейчасъ еще большеволновало и пугало.

И, глядя въ рѣшетчатыя окна высокихъ корридоровъ, дрожащими руками служители вставили ключи въ крѣпкіе желѣзные замки, подъ которыми, запертые, сидѣли смѣлые.

Но не успѣлъ повернуться еще ни одинъ ключъ ни въ одномъ замкѣ, какъ расщепленныя, съ трескомъ, повалились двери. И съ расширенными безумными глазами, махая руками, стуча и прыгая, съ дикими криками животной радости, потрясая воздухъ побѣдной пѣсней, понеслись заточенные люди и сбили съ ногъ, и повалили, и топтали служителей, и бѣжали.

Ворвавшись въ залу, они распугали тихихъ, и отбросили елку, и неслись все дальше и дальше, оставляя за собой лишь звонкіе крики побѣдной радости.

IV.

А упавшая елка пылала. Горѣлъ тяжелый полъ и высокія стѣны; перекидывало огонь съ этажа на этажъ, и вился, крутясь и разрываясь, безконечный, какъ облако, и сизый, какъ туманъ, дымъ горѣнія.

Гремѣло пламя и гулко слышно было, какъ оно топчетъ и качаетъ обезумѣвшее чудовище.

Красныя руки съ пальцами изъ искръ метались по верху, и хватались за балки, приспособляясь, какъ бы удачнѣй и скорѣй сломить ихъ.

И гнулись балки, и побѣдно рычало пламя, но снова обрывались красныя, какъ кровь, руки, и опять хватались, и гнули, и ломили желѣзо, и раскидывали камень, и изступленно рвались вверхъ, дотягиваясь до самаго неба.

Какъ гулъ мщенія, ревѣла огненная пасть, и на самый верхъ вдругъ выпрыгивала кровавая волна, и вновь печально и хрипло выло все присѣдавшее и обезсиливающее чудовище тюрьмы. А огромный красный зѣвъ съ милліономъ бившихся огнистыхъ языковъ проглатывалъ притихшую громаду.

И, видя кумачевое зарево, говорили сосѣди и повторяли далекіе:

— Вонъ горятъ и погибаютъ узники!

Но, свободные, они бѣжали все дальше, все дальше, а рушилось и стонало въ горячихъ волнахъ огня одно зараженное убѣжище вѣчнаго зла.

Изъ пустыхъ, безглазыхъ оконъ здѣсь и тамъ выскакивали огненные витязи и, подбоченясь, качались на подоконникахъ, хвастаясь своей побѣдой.

Розовое золото искръ испуганно билось въ тяжело дышавшемъ воздухѣ и кидалось изъ стороны въ сторону, справа налѣво, ища пути и выхода и, не находя, раздраженно трещало и стрѣляло тысячью красныхъ пуль.

V.

А трясущіяся отъ напряженія кровавыя руки огня все тянулись кверху—и теперь уже горѣло само небо, раскаленное, угрюмое, яркое. Разрушаясь и ослабѣвая, рушились стѣна за стѣной, валилась крыша и трещали балки.

...Но никто не шелъ ни тушить, ни спасать обвисавшее чудовище: такъ оно было далеко отъ всѣхъ, всѣмъ чуждо и страшно!..

Мартъ.
1902 г.

Въ глуши.

I.

Подпоручикъ Логиновъ былъ назначенъ въ N—скій полкъ, заброшенный въ глухую трущобу. Даже отъ ближайшаго уѣзднаго города, скучнаго и грязнаго, ѣзды было цѣлыхъ полтора часа. Первое, что пришлось сдѣлать по прибытіи въ полкъ, это явиться къ командиру полка. Называлось это—„представляться".

Логинова встрѣтилъ сухой человѣкъ въ тужуркѣ, съ заложенной за бортъ правой рукой, выслушалъ рапортъ съ опущенной головой и нахмуренными бровями,—будто ему собщали о какомъ-то огромномъ несчастьѣ, или непоправимой бѣдѣ. Потомъ онъ поднялъ глаза, и, не мѣняя позы, раздѣльно, сердитымъ голосомъ произнесъ:

— М-да... Только, вотъ, мундирчикъ-то вы поберегите!..

Сразу Логиновъ не понялъ, въ чемъ дѣло и его наивный, слегка удивленный взглядъ пробѣжалъ по новенькому сукну своего мундира, поднялся по сѣрой

тужуркѣ командира и встрѣтилъ недовольные и злые глаза.

— Повидимому,—продолжалъ командиръ,—вамъ непонятно, что мундиръ есть мм... мм... символъ... и что надо... надо беречь именно... не сукно... мм... а именно... именно символъ...

Командиръ почмокалъ губами, звякнулъ правой шпорой и тономъ приказанья добавилъ:

— Затѣмъ, конечно, всѣмъ въ полку извольте сдѣлать визиты.

Вездѣ, куда ни пріѣзжалъ Логиновъ, во всѣхъ домахъ его однополчанъ было одно и тоже: также открывалъ дверь денщикъ, потомъ бѣжалъ узнать, дома ли господа, будто выходовъ изъ каждой квартиры было нѣсколько. И если господа принимали, то, обтеревъ о рубашку руки, денщикъ стаскивалъ съ Логинова пальто и открывалъ дверь въ сосѣднюю комнату. Проходило полчаса, пока выходила хозяйка дома и начинался вездѣ одинъ и тотъ же разговоръ. Всѣ жаловались на смертную тоску, говорили о легкости службы, упоминали о тяжеломъ характерѣ командира и приглашали бывать запросто. Только въ собраніи вышла у Логинова маленькая неожиданность. Зайдя туда, онъ сталъ представляться офицерамъ и, когда очередь дошла до капитана, краснаго, съ отвислымъ подбородкомъ, сидѣвшаго на диванѣ въ билліардной комнатѣ и курившаго трубку, Логиновъ въ отвѣтъ на свое привѣтствіе, вдругъ услышалъ окрикъ:

— Собачка?!.

Въ звукѣ голоса у капитана слышался вопросъ и Логиновъ не понялъ, что онъ долженъ сдѣлать и какъ отвѣчать. Растерявшись, онъ снова повторилъ свою фамилію, а капитанъ все еще не протягивая руки, но

уже болѣе спокойнымъ и серьезнымъ голосомъ сказалъ:

— Водку пьемъ?

Логиновъ не пилъ, но ошеломленный этимъ отвѣтомъ, противъ воли и совершенно неожиданно для себя отвѣтилъ:

— Точно такъ...

И только теперь капитанъ протянулъ ему руку и, вдругъ вставъ и взявъ подпоручика подъ руку, повелъ въ столовою. Тамъ онъ приказалъ подать водки и все еще неоправившійся отъ смущенья Логиновъ, давясь и обжигая губы и языкъ, выпилъ одну рюмку, за ней, почти вслѣдъ, вторую, а потомъ и третью. Должно быть, пили и еще много, потому что, когда Логиновъ проснулся, у него болѣла голова, чуть-чуть опухло лицо и на душѣ было смутно, тяжело и больно. Въ окна смотрѣлъ холодный и темный вечеръ, и вся комната въ этомъ казенномъ зданіи, гдѣ помѣщались офицерскія квартиры, походила на склепъ,—такъ чужды и суровы были ея сводчатые потолки и бѣлыя безъ обоевъ стѣны.

Но скоро пришелъ поручикъ Петровъ, товарищъ по ротѣ, и сталъ звать Логинова въ собранье—ужинать. И за ужиномъ снова пили, и говорили опять все о томъ же,—о командирѣ, о производствѣ въ подполковники и смотрахъ.

II.

Сѣрой и ровной, какъ укатанная дорога, потянулаеь для Логинова новая жизнь. Вначалѣ еще ждалось чего-то. Все думалось, что будутъ перемѣны, и почему-то казалось, что жить въ этой глуши, безъ шума, безъ

улицъ и суеты, недолго. И хотя самъ Логиновъ не зналъ, въ чемъ будутъ перемѣны,—въ его ли переводѣ, или въ новой стоянкѣ полка,—тѣмъ не менѣе всѣ надежды были въ будущемъ. Но дни проходили, угасали въ смутныхъ надеждахъ, и все было такъ же, какъ прежде. Утромъ—рота, потомъ обѣдъ въ собраніи, еще разъ рота и опять собраніе. Отъ времени до времени приходилось бывать въ семейныхъ домахъ, но и это было скучно, потому что и разговоры, и пересуды, и встрѣчи, и лица были все тѣже самые, будто сама жизнь остановилась и замерла, и если бы не карты и не ужины, съ анекдотами и воспоминаніями, можно было бы умереть отъ соннаго безмолвія и тоски.

Въ мартѣ мѣсяцѣ Логиновъ проигралъ въ карты сто рублей и пришлось брать изъ заемнаго капитала, а вмѣстѣ съ этимъ пропадала надежда на отпускъ. И отъ этого, отъ юныхъ и грустящихъ вѣяній просыпающейся весны, отъ неясныхъ воспоминаній Логинову стало еще тяжелѣй и мучительнѣй.

Въ этомъ году Пасха была ранняя, и Логиновъ, съ дѣтства привыкшій къ тихой радости весенняго праздника, ждалъ ее съ особеннымъ нетерпѣніемъ. Каждый годъ на второй день Пасхи въ полку давали большой балъ и проходилъ онъ оживленнѣй всѣхъ другихъ, потому что съ масленицы во всѣ семь недѣль поста почти никакихъ вечеровъ, кромѣ карточныхъ, не полагалось.

Первый день праздника уходилъ на визиты и часамъ къ тремъ по всему военному поселку толкались повеселѣвшіе офицеры. И когда Логиновъ пріѣхалъ къ Завалишинымъ, и Анна Евграфовна, кругленькая, съ черными глазами и уже намѣчающимся вторымъ подбородкомъ,—позволила поцѣловать себя и сама отвѣ-

тила тремя крѣпкими поцѣлуями,—ему вспомнилось, какъ еще на масленицѣ, на балу, она съ значительнымъ и чуть-чуть кокетничающимъ видомъ задала ему вопросъ:

— Скажите, Николай Николаевичъ, какъ по вашему: можетъ женщина прожить безъ любви цѣлыхъ семь лѣтъ?

Своего отвѣта Логиновъ сейчасъ не могъ вспомнить, но, кажется, онъ тогда сказалъ что-то незначительное, потому что Завалишина недовольно отвернулась отъ него и разговоръ перевела на другую тему.

Оттого, что визитъ этотъ былъ уже не первый, отъ выпитаго вина, отъ близости красивой женщины, смотрѣвшей на него довѣрчиво и влюбленно, отъ весенняго воздуха и праздничныхъ, легкихъ возбуждающихъ настроеній Логиновъ вдругъ почувствовалъ жажду ласкъ и жизни, посмѣлѣлъ, и взявъ руку той, которая такъ близко сидѣла около него, сталъ цѣловать ея пальцы горячими молодыми поцѣлуями. И Завалишина не отрывалась, вся настороженная, и глаза ея, на минуту ставшіе испуганными, вдругъ загорѣлись, заискрились, она вся подалась впередъ и сильныя руки Логинова охватили ея станъ.

... Все закружилось у него передъ глазами и слова любви, торопясь и перебивая другъ друга, радостной стаей, полетѣли навстрѣчу настороженному и жадному слуху женщины.

А на другой день былъ балъ, и никогда еще Логиновъ не танцовалъ съ такимъ увлеченіемъ, какъ въ этотъ разъ. Поручикъ Петровъ, не принимавшій никогда участія въ танцахъ, и въ этотъ разъ внимательно слѣдившій за парами, послѣ мазурки, улыбаясь, сказалъ выходящему Логинову:

— Смотри, Николай, какъ бы у Завалишина глаза не открылись...

А красный капитанъ поглаживая свой подбородокъ, тѣмъ же самымъ тономъ, что и при первой встрѣчѣ, громко бросилъ Логинову:

— Да-съ... Собачка-съ!..

И слово это рѣзнуло его, какъ ножемъ, дерзкій отвѣтъ запросился на его языкъ, но онъ сдержался и, отозвавъ Петрова, попросилъ его:

— Пожалуйста, прошу тебя, обойдись безъ этихъ грязныхъ намековъ,

— Я не зналъ, что это такъ серьезно.

III.

Прошло лѣто, минули лагери, настала осень и была она плачущая, больная и хмурая, какъ брошенная женщина. Связь Логинова съ Анной Евграфовной продолжалась уже полгода и объ ней знали всѣ въ полку и никто не трудился даже дѣлать видъ будто не замѣчаетъ, а, напротивъ, всѣ подшучивали, намекали, и одни одобрительно похлопывали его по плечу, другіе съ оскорбительнымъ презрѣніемъ въ глазахъ давали ему понять, какъ скверно, не по товарищески, поступаетъ онъ. Но поправлять ошибку было уже поздно; приходилось терпѣть, мучиться, краснѣть и повторять все то же изо-дня въ день.

Теперь, возвращаясь домой и по-долгу не засыпая, Логиновъ ясно и остро сознавалъ, какъ глубоко и безповоротно запутался онъ, какъ ростетъ какая-то неумолимая опасность и теряется подъ ногами колеблющаяся почва, но сколько ни искалъ выхода, найти его не могъ.

И какъ всегда, грозная развязка пришла нежданно и ничтожная случайность распутала узелъ.

Логинову назначили денщикомъ татарина Гамидулу, добродушнаго, наивнаго и неумѣющаго хитрить казанца. Раньше онъ былъ денщикомъ у холостого же офицера и тотъ его отчислилъ въ строй за пустякъ. Какъ-то вышло такъ, что офицеръ три дня подрядъ обѣдалъ у знакомыхъ и каждый разъ, когда онъ возвращался домой, Гамидула неизмѣнно подавалъ ему свою несложную стряпню и каждый же разъ получалъ одно и тоже приказаніе—убрать. И когда это повторилось въ третій разъ, Гамидула покачалъ головой отошелъ къ двери, и помявшись съ ноги на ногу, и для чего-то погладивъ себя по бедрамъ, совѣтующимъ тономъ вдругъ произнесъ:

— Жри. А то сдохнешь.

Говорилъ онъ по-русски плохо и въ этихъ словахъ его не было ничего, что могло бы оскорбить, но Гамидулу арестовали и отправили въ роту, а когда пріѣхалъ Логиновъ, назначили къ нему. И обыкновенно было такъ, что всѣ записки къ Завалишиной посылались черезъ Гамидулу. Онъ являлся на кухню, мялся, что-то невпопадъ отвѣчалъ завалишинскому денщику и покорно, подолгу ждалъ, пока выйдетъ барыня. Тогда осторожно, какъ ворующій чье-то чужое добро, онъ съ оглядкой вытягивалъ изъ рукава записку и передавалъ.

Но неожиданно случилось однажды такъ, что Гамидула, поторопившись и настороженно глядя на дверь, откуда всегда выходила „барыня“, быстро вытащилъ записку и по ошибкѣ протянулъ ее въ руки самого Завалишина. Онъ тотчасъ же понялъ, что совершилъ нѣчто ужасное, быстро и сбивчиво залепеталъ, мѣшая „ты“ и „вы“:

— Ваше благородье... не тебѣ... женѣ твоей... назадъ давай...-

Но было уже поздно. Тотъ, къ кому попало письмо, быстро повернулся и ушелъ, и напрасно Гамидула ждалъ еще чего-то цѣлый часъ. Изъ сосѣднихъ комнатъ слышался только гнѣвный голосъ офицера и чей-то всхлипывающій, воющій и то стихающій, то ростущій плачъ.

Въ запискѣ Логиновъ писалъ: „Дорогая моя! Сегодня меня не жди; нельзя притти и ко мнѣ. Объясню завтра. Встрѣтимся тамъ же. Твой Н. Логиновъ“.

Все стало ясно Завалишину, хорошо понялъ онъ и то, что узнаетъ объ этомъ послѣднимъ, и почти не отдавая себѣ отчета, быстро накинулъ на себя пальто внакидку и пошелъ, чтобы заявить объ этомъ предсѣдателю суда общества офицеровъ.

Самое ужасное для Логинова изъ всего, что происходило теперь, было томительное, ноющее и сосущее душу ожиданіе. Никуда не хотѣлось выходить, было стыдно и тяжело смотрѣть въ чужіе глаза неувѣреннымъ даже въ томъ, протянутъ ли руку, или нѣтъ.

И дни потекли, какъ годы, и были они черными, ничего не суля въ будущемъ, заставляя краснѣть за прошлое, и ничѣмъ не отличаясь отъ ночей. Началось дознаніе, и Логинова вызывали, распрашивали, и въ безцеремонномъ желаніи узнать все и установить ту формальную истину, въ которую такъ крѣпко вѣрили здѣсь, касались самыхъ интимныхъ и самыхъ дорогихъ сторонъ и подробностей.

И приходилось отвѣчать, утаивать и лгать, боясь все время быть пойманнымъ.

Будто сговорившись, ни одинъ изъ офицеровъ полка не шелъ къ нему и въ этомъ глухомъ протестѣ было

что-то угрожающее, серьезное и, какъ во всемъ молчаливомъ, томящее. Но на осужденіе силъ не хватало у Логинова, и хотя онъ хорошо зналъ, что связь съ женой товарища была не у него одного,—но и въ этомъ сознаніи онъ не находилъ ни успокоенія, ни облегченія.

Судъ былъ назначенъ въ концѣ недѣли и эта извѣстность послѣ долгаго ожиданія сразу сняла бремя съ души Логинова и, усталый за все время, въ эту ночь спалъ онъ крѣпко, какъ никогда. Но съ самаго слѣдующаго утра въ его сердце стали закрадываться предчувствія, неясныя и предостерегающія.

Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ своей пустой комнаты, слѣдилъ за ходомъ минутъ и то садился, то вставалъ, проводилъ рукой по волосамъ своимъ, вздыхалъ и снова ходилъ и ходилъ взадъ и впередъ отъ стѣны до стѣны, будто торопя и подталкивая неспѣщащіе часы.

Только идя уже въ собраніе, гдѣ въ большомъ залѣ было назначено засѣданіе, Логиновъ въ первый разъ задумался надъ возможнымъ исходомъ суда. Какимъ-то страннымъ образомъ до сихъ поръ ему не пришлось задать себѣ этотъ вопросъ. Онъ не ждалъ оправданья оставались только два приговора: внушеніе и выходъ изъ полка, и ни то, ни другое не несло утѣшенія и ни того, ни другого желать было нельзя.

Такъ же, какъ всегда, съ поспѣшной почтительностью съ него снялъ пальто солдатъ, но и въ этомъ актѣ, и въ томъ, что солдатъ почему-то не взглянулъ ему прямо въ глаза, Логинову показалось что-то новое, непривычное, и оскорбительное, чего не было прежде, но чего не избѣгнешь теперь.

Онъ поднялся наверхъ въ залъ, всегда пустой въ

эти часы, куда онъ входилъ только во время танцовальныхъ вечеровъ, и ему стало жутко отъ этой гулкой тишины, спящихъ портьеръ, пропускавшихъ вялый и тусклый свѣтъ склоняющагося дня, отъ этихъ блестящихъ половъ, напоминавшихъ какія-то старыя гравюры, и отъ стола, стоявшаго посрединѣ зала, покрытаго зеленой скатертью и будто молчаливо ждущаго чьей-то казни.

И въ головѣ Логинова вдругъ мелькнула мысль о томъ, что въ этомъ залѣ онъ, быть можетъ, уже послѣдній разъ, и нога его никогда не ступитъ на этотъ паркетъ, а высокіе потолки больше не услышатъ его голоса. И ему захотѣлось плакать, спрятать свою голову на чью-то грудь, почувствовать ласку, или простое пожатіе руки.

Но въ эту минуту послышался звонъ шпоръ и глухой топотъ ногъ по коврамъ лѣстницы: входилъ судъ и Логиновъ никогда еще не видѣлъ своего благодушнаго и пьющаго баталіоннаго командира такимъ важнымъ, недоступнымъ и чужимъ, какъ сейчасъ, когда онъ былъ облеченъ величайшей изъ всѣхъ властей въ полку и долженъ былъ предсѣдательствовать въ „судѣ общества“.

Въ отвѣтъ на поклонъ Логинова ему слегка кивнули и предсѣдатель, сдѣлавъ плавный жестъ рукой, какъ бы выводя Логинова изъ комнаты, громко произнесъ:

— Прошу пока удалиться!

И когда двери зала закрылись за его спиной, Логинову показалось, что его выгнали вонъ, что двери никогда больше не откроются предъ нимъ и опять стало обидно и горько и что-то больно защемило въ лѣвомъ боку,—гдѣ сердце.

Долгимъ и медлящимъ срокомъ проползли для него

эти пять минутъ, потомъ дверь отворилась и младшій членъ суда, штабсъ-капитанъ Ваганцевъ, съ которымъ Логиновъ былъ на „ты“, сказалъ ему оффиціальнымъ тономъ:

— Пожалуйте, подпоручикъ.

Какъ-то торопливо и жалко обдернулъ Логиновъ полы своего короткаго мундирчика; тихо сдерживаясь, кашлянулъ въ ладонь, набралъ побольше воздуху, словно собираясь летѣть куда-то и пошелъ за Ваганцевымъ, неувѣренно и робко ступая по скользкому и блестящему паркету зала. Но какъ только онъ глухо произнесъ все еще невѣрнымъ голосомъ первую фразу, къ нему вернулись и смѣлость, и бодрость. Отчетливо, равнодушно, но твердо и точно бросалъ онъ слово за словомъ и они выходили ясными, нужными и гордыми. Всю вину принималъ онъ на себя, но не каялся и не оговаривался, а когда предсѣдатель заявилъ, между прочимъ, что госпожа Завалишина считаетъ во всемъ виновной себя, Логиновъ громко и горячо возразилъ короткимъ словомъ:

— Неправда!

Ничего неяснаго въ дѣлѣ не было и допросъ окончился быстро. Потомъ Логинова опять попросили выйти и это означало, что настаетъ самая важная и рѣшающая минута: начинается совѣщаніе.

Прижавшись лбомъ къ стеклу, и глядя на пустую улицу, куда выходило собраніе, Логиновъ былъ спокоенъ, а то, какъ рѣшится его участь, и останется ли онъ въ полку, или ему предложатъ уйти, не пугало его больше и только одно равнодушіе ощущалъ онъ у себя на душѣ. Снова отворилась дверь и снова тотъ же Ваганцевъ, высунувъ голову и маня рукой, звалъ Логинова и онъ не могъ различить, какъ теперь къ нему обращается Ваганцевъ, —на „ты“, или на „вы“.

Но уже предчувствіе ясно подсказывало, что ничего ужаснаго не случилось, что приговоромъ суда онъ не выброшенъ за бортъ полка. И когда предсѣдатель прочелъ ему о томъ, что онъ достоинъ внушенія, а кое-кто изъ членовъ суда, поднявъ на него опущенные глаза, чуть-чуть улыбнулся, Логиновъ вдругъ почувствовалъ, что ему было бы нестерпимо, непередаваемо грустно и обидно разстаться теперь съ этими лицами, съ этими добрыми людьми, такъ напрасно часъ тому назадъ напускавшимъ на себя строгость, оффиціальную важность и внушительность.

Вечеромъ къ Логинову собралось нѣсколько человѣкъ офицеровъ и всѣ они въ одинъ голосъ осуждали Завалишина, оправдывали Логинова и вспоминали тѣ десятки романовъ и связей, которые были всегда прежде, существуютъ теперь и будутъ до тѣхъ поръ, пока живыя впечатлѣнія живой и кипучей жизни не смѣнятъ тоски глухихъ угловъ и могильной тишины заброшенныхъ существованій.

Позже всѣхъ ушелъ Ваганцевъ, — и когда они съ Логиновымъ остались вдвоемъ, ихъ разговоръ перешелъ на будущее, на скуку настоящаго, на общее равнодушіе, мракъ и злобу.

— Удиралъ бы ты, голубчикъ, отсюда. Мнѣ-то уже поздно,—я наканунѣ полученія роты,—медленно, пуская дымъ сизыми струйками говорилъ Ваганцевъ.—Не убѣжишь въ молодости,—привыкнешь, осядешь и уже не будетъ тебѣ ни выхода, ни дороги. Такъ лямку эту и потянешь. А глушь зла. Она—жадная, и никого, попавшаго въ лапы къ ней, отъ себя не отпуститъ. Берегись, милый, глухихъ угловъ, гдѣ люди поѣдомъ ѣдятъ другъ друга, ни о чемъ не думаютъ, тускло живутъ и безвѣстно умираютъ, безъ воспоминаній, безъ радо-

стей и счастья. Вотъ, возьми листикъ почтовой бумажки, да напиши родительницѣ: пусть сходитъ, попроситъ, поплачетъ. Старческія слезы сильны и люди ихъ боятся. Ради этихъ слезъ всѣ все сдѣлаютъ, и переводъ твой состоится. Пиши, право...

Уже глубокая ночь стояла за гладкимъ окномъ и безмолвное далекое поле присмирѣло и глядѣлось въ небо.

Ни одного дуновенія вѣтра не было кругомъ, и какъ на кладбищѣ, безмолвіе смерти было царемъ здѣсь.

„Глушь—зла", думалъ Логиновъ. И ему вспомнились далекій городокъ, утонувшій въ зелени, милый домикъ на окраинѣ, и старуха мать, сѣдая, низенькая, съ такими слезящимися глазами, ласковой рѣчью и мягкой поступью.

Потомъ онъ подумалъ о томъ, что здѣсь онъ чуждъ всѣмъ, и что даже та, ради которой пришлось пережить позоръ суда, едва ли его любитъ.

Логинову стало грустно. Больной разсвѣтъ просился въ комнату и она сама, бѣлая, пустая, одинокая, стояла, какъ заброшенная и чужая.

И онъ взялъ перо и быстро—нервными скачками—вывелъ на бумагѣ ту единственную фразу, которая выражала все неисцѣлимое горе его души:

„Дорогая, милая и святая моя мамочка! Спаси меня, вырви меня отсюда,—и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!..."

Дальше онъ не могъ писать. На бумагу капнула слеза, за ней другая, и если бы не всталъ онъ, не прошелся по комнатѣ, не выпилъ воды, онѣ полились бы дождемъ, потокомъ, будто торопясь смыть человѣческое горе, людской позоръ и то одиночество.

на которое обрекаетъ насъ жестокая, случайная, слѣпая и безпощадная жизнь...

...Гдѣ-то пропѣли пѣтухи и новый день вставалъ, и несъ онъ новое горе...

Мартъ.
1904 г.

Мартъ.

Мартъ еще въ серединѣ, но я чувствую, какъ дышитъ земля, какъ глубоки ея вздохи, и сколько тоски въ ея несогрѣтыхъ парахъ и чуть-чуть синѣющемъ небѣ.

Только что покинулъ я то огромное, холодное каменное зданіе, изъ ярко краснаго кирпича, гдѣ прошло столько дней въ невольномъ молчаньѣ и думахъ о волѣ, оставшейся гдѣ-то назади.

И меня потянуло сюда, въ эту чащу родныхъ деревъ, въ эту старую усадьбу. И, вотъ, я снова здѣсь и снова, какъ бывало, иду по тѣмъ же коричневымъ отъ человѣческихъ ногъ тропинкамъ. ведущимъ къ рощѣ. Со мной сестра.

Роща молчитъ и будто считаетъ мгновенья, въ которыя ослабѣвшій, уже изнѣженный солнцемъ снѣгъ начнетъ двигаться и, какъ прогнанный слуга, заворчитъ ручьями.

— Опять къ оврагу? смѣется сестра.

— Опять...

Овраги—моя страсть, моя давнишняя старая привязанность. Я люблю ихъ, серіозные и темные, присмирѣвшіе и загадочные: въ нихъ тишина и безстрастіе.

По чернѣющей полянкѣ мы подходимъ къ „Провалу“. Внутри темно. Чья-то черная пасть раскрылась предъ нами и есть что-то жуткое и сильное въ этихъ раздвинувшихся краяхъ земли. Спускаемся внизъ. Наши ноги не скользятъ по влажной и мягкой почвѣ и шагъ нашъ спокоенъ и увѣренъ.

Вотъ и дно.

Съ него и со стѣнъ поднимается густой запахъ сырости. Раздражающе чувствуется какой-то пряный ароматъ: ароматъ смерти прошлогоднихъ цвѣтовъ.

Тихо, какъ ночью въ пустомъ домѣ. Сестра меня держитъ подъ руку, и я слышу, какъ неровно и быстро стучитъ ея сердце.

— Смотри, змѣя!.. говоритъ она мнѣ вдругъ и умоляющимъ голосомъ прибавляетъ:

— Уйдемъ отсюда...

Ея маленькая рука начинаетъ меня потихоньку тянуть и мнѣ ясно, что сестра уже переставила назадъ правую ногу, и сейчасъ переставляетъ на приступку лѣвую.

— Давно ли ты стала выше меня? улыбаюсь я, и вижу, какъ ея щеки изъ блѣдныхъ вдругъ становятся алыми.

— Ну, уйдемъ... проситъ она снова и „ну“ звучитъ, какъ у дѣтей,—немного капризно и трусливо. Она уже высвободила свою руку изъ-подъ моей,—теперь ея пальцы схватили мои и пробуютъ тянуть.

— Мнѣ страшно... Уйдемъ... Змѣя...

Но крѣпко сжимаю я ея руку въ своей и, поблѣднѣвшую, удерживаю сестру около себя.

Теперь она боится уже не змѣи, а меня.

— Нѣтъ, мы не уйдемъ отсюда,—громко и твердо отвѣчаю я и отъ моего голоса она вздрагиваетъ.

Его ноты гулко, какъ въ каменныхъ сводахъ, отдаются въ оврагѣ и я радъ, что у меня есть голосъ, что онъ не изсякъ и не пропалъ въ эти долгіе дни моего невольнаго молчанія и еще громче и еще тверже, чтобъ слышалъ весь лѣсъ, и, если можно, весь міръ, я повторяю:

— Мы не уйдемъ!

Никакой змѣи нѣтъ здѣсь. Сухой листъ и посѣрѣвшая отъ долгихъ дней гніенія трава легли неровнымъ изгибомъ по дну и сказались сестрѣ змѣей.

— Никакой змѣи нѣтъ здѣсь!..

Но еслибъ даже и была она!

Еслибъ она впустила свое жало въ мое тѣло, и отравила мою горячую кровь,—я не дрогнулъ бы.

И еслибъ она отравила мое сердце и убила мой мозгъ, я не вскрикнулъ бы здѣсь, на границѣ могилъ, въ черныхъ и спокойныхъ нѣдрахъ глубокой земли. Не страшенъ мнѣ покой вѣчности и здѣсь я постигаю ея тайну и ея красоту; не страшенъ мнѣ и уходъ изъ жизни, какъ не боюсь я ея самой. этой жизни людей, обрекающей на оглядку. Въ этихъ пещерахъ, среди спокойствія и тишины смерти, мнѣ вѣчность близка, какъ счастье, и понятна, какъ мое прошлое и будущее, котораго нѣтъ въ настоящемъ.

— Никакихъ змѣй нѣтъ,—диктую я свою мысль сестрѣ.

— Ты смѣлый—отвѣчаетъ она, какъ ребенокъ.—Ты сильный и съ тобой нестрашно...

А я продолжаю:

— Никакихъ змѣй нѣтъ и онѣ не опасны для смѣлыхъ. Змѣи и удавы выдуманы трусами, и вредятъ онѣ только трусамъ. Запуганное воображеніе забитыхъ вызвало ихъ къ жизни, ее дало имъ и только она ихъ поддерживаетъ и родитъ. Для бодрыхъ и смѣлыхъ, для

горячихъ и сильныхъ нѣтъ ни удавовъ, ни ужей. Удавы не осмѣлятся, а ужи слишкомъ домашни и сыты.

— Да, ты смѣлый!—шепчетъ сестра... Какъ сладостно, хорошо и радостно быть смѣлымъ и ничего не бояться...

Нетревожный и гордый, я стою рядомъ съ ней предъ змѣинымъ призракомъ и мнѣ нѣтъ причинъ ни бѣжать, ни молиться трепетными слезами вѣры объ избавленіи отъ законныхъ правъ всеискупающей смерти.

И въ душѣ моей свѣтло, какъ на солнцѣ, и нѣтъ ни смятенья, ни тревогъ.

Небо темнѣетъ.

Изъ яснаго, молочно-голубого, по-мартовски прозрачнаго оно становится сѣрымъ, потомъ дымнымъ, потомъ чернымъ.

Черезъ оврагъ перекинулась тѣнь, большая, несуразная .Это отъ меня. Тѣнь выше, и полнѣй и шире, чѣмъ я самъ, ее родившій.

— Пора,—рѣшительно произноситъ сестра.

Она старается выговорить это „пора“ такъ, чтобъ не было никакихъ колебаній и накакихъ отсрочекъ,—серьезно, важно, убѣдительно.

Но нервы ея, очевидно, натянулись и голосъ выдаетъ ея тревогу сквозь ноты дѣланной твердости.

И я уступаю.

— Пойдемъ—отвѣчаю я.

И мы взбираемся по крутой отлогости оврага. Моя тѣнь при этомъ вздрагиваетъ, будто ее кто-то разбудилъ, качается, ползя по дну, поднимается по темной стѣнкѣ, ерзаетъ по землѣ.

Я останавливаю сестру, указываю на тѣнь, и внушительно говорю:

— Это за нами идетъ смерть!..

Но она уже оправилась, и, смѣясь, отвѣчаетъ:

— Съ тобой нестрашно. Ты не боишься и самой смерти. Ты и умрешь красиво и съ достоинствомъ умрешь.

Она произноситъ это въ какихъ-то увѣренныхъ и простыхъ тонахъ, серьезно и задумчиво. Ея головка поднимается и я вижу и сознаю, что она гордится за меня и мной, какъблизкимъ человѣкомъ, съ которымъ нестыдно и нестрашно.

И въ эту минуту мнѣ ясно до очевидности, что благоразуміе выдумано въ комнатахъ и душномъ теплѣ, что оно оконное растеніе, больное и недолговѣчное. Въ здоровомъ воздухѣ природы, гдѣ нѣтъ неволи, а есть только жизнь и естество, нѣтъ и благоразумія, и нѣтъ закупоренныхъ сердецъ, ибо судьба и счастье за того, кто не боится ни тьмы ночей, ни дремлющей чащи, ни смерти, ни вѣчности.

Сестра кладетъ свою правую ладонь на мою руку и проситъ:

— Скажи же мнѣ что-нибудь. Разскажи о счастливомъ и вольномъ. Не объ идеяхъ разскажи, не объ одиночествѣ своемъ во тьмѣ тюрьмы, которое тебя не съѣло, и которому ты не отдалъ въ плѣнъ души своей. Разскажи одну изъ сказокъ мечты твоей.

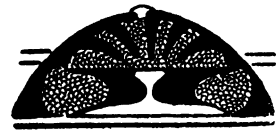
Глаза ея смотрятъ вверхъ, въ темное уже звѣздное небо, и я вижу, какъ оно горитъ и будто дышитъ,— будто и у него своя душа: быть можетъ, пророческая, быть можетъ, несчастная.

И я начинаю. Я говорю моей маленькой сестрѣ о зимнихъ морозныхъ ночахъ, которыя ушли и не придутъ; объ огромномъ заливѣ, молчаливо замерзшемъ и въ лунномъ свѣтѣ таинственномъ, какъ серебряная дорога къ далекому богу; какъ отъ мороза по утрамъ небо становится розовымъ, малиновымъ, и, если бы не отпустило, оно стало краснымъ, какъ отъ пролитой крови.

Но въ бодромъ воздухѣ мнѣ вдругъ становится весело въ эту весеннюю ночь, я бросаю мой разсказъ на полусловѣ, кричу сестрѣ въ самое ухо:—Глупая!

Поднимаю ее и цѣлую въ ея серіозные и удивленные глаза...

Мартъ.
1904 г.



Золотыя вилочки.

I.

— Пойдемъ туда, поближе къ мельницѣ... тамъ хорошо.

Такъ говорила она и брала его подъ руку, и они шли туда, къ пригорку, около котораго, внизу, какъ синяя жилка, ползъ ручей, а наверху задумавшимся юношей стоялъ лѣсокъ,—темный и кудрявый.

Тихо шли они ровными шагами по сгорѣвшимъ дорожкамъ, какъ должны это дѣлать люди, давно переговорившіе о всемъ важномъ и интересномъ и рѣшившіе всѣ вопросы, которые могли стоять между ними, мѣшая видѣть другъ друга и смотрѣть въ будущее ясно и легко. И отбросивши отъ себя все постороннее, свое прошлое и весь міръ, они жили и были заняты только въ томъ настоящемъ, что называлось любовью.

Никто не смотрѣлъ на нихъ, никто не зналъ ни о томъ, что они ходятъ туда, къ пустынной мельницѣ и задумавшемуся лѣску, ни о томъ, что они любятъ другъ друга. И то, что въ мірѣ была такая единствен-

ная тайна, которой владѣли только они двое и больше никто, заставляло ихъ радоваться и улыбаться спокойными и добрыми, счастливыми улыбками.

Когда, передъ поцѣлуемъ, взгляды ихъ слегка касались одинъ другого своими невидимыми лучистыми концами, ея губы неслышно хотѣли сказать:

— Сбережемъ нашу тайну и свѣтлѣй будетъ жизнь...

Короткія слова ихъ, тихія и темныя, какъ голоса ночи, легкія и быстрыя, какъ молніи, входили горячими струйками въ сердца и, еще непонятыя умомъ, внушали о чемъ-то великомъ, загадочномъ и хорошемъ. И отъ этого имъ обоимъ становилось трепетно и сладко, какъ бываетъ съ дѣтьми, когда съ вытянутыми шейками они заглядываютъ внизъ, въ темную пропасть, и хватаются за перила, и боятся, и смѣются.

— О, какъ хорошо, какъ хорошо!

Онъ вздрагивалъ плечами, сердце билось частыми ударами въ его груди, и сдерживая волненіе и дрожь, онъ медленно и наслаждаясь поворачивалъ голову къ ней и предъ поцѣлуемъ опять какіе-то невидимые концы, какъ длинные лучи ихъ темныхъ глазъ, сплетались между собой въ союзъ любви, и она—вся прощенье и вся нѣжность—шептала ему старыя и простыя слова вѣчнаго признанія:

— Милый мой, милый!..

II.

На цѣлыхъ семь лѣтъ была она старше и то, что она была опытнѣй и серьезнѣй, сообщало его любви къ ней трогательный оттѣнокъ какой-то дѣтской привязанности, и музыка любви ихъ была перемѣшана

спутанными аккордами, въ которыхъ его голосъ звучалъ то первымъ, то вторымъ, а въ увѣренный тонъ побѣдителя врывалась благодарная нота избранника.

Она говорила съ нимъ и ласкала его, какъ довѣренное кѣмъ-то ея попеченію дитя, и обращалась, какъ съ хрупкимъ, легко разбиваемымъ счастьемъ.

Но слѣдя за ея поцѣлуями и слушая ея совѣты, онъ изрѣдка оскорблялся этимъ тономъ матери и старшей сестры, и сердился тогда и протестовалъ:

— Я не хочу тебя видѣть сидѣлкой у духа моего!..

А она нагибала его голову и цѣловала его темя, потомъ поднимала лицо и, тихо коснувшись губъ, долго смотрѣла ему въ глаза, остывающіе отъ гнѣва.

Когда солнце опускалось къ землѣ—какъ будто и оно должно было найти свой покой только здѣсь,—они брались за руки и возвращались домой и по дорогѣ оба смѣялись, глядя на мельницу, которая смотрѣла на нихъ испуганно и изумленно, словно растерявшаяся баба: взмахнула руками,—такъ и осталась.

Дома навстрѣчу къ нимъ выходилъ ея мужъ, красный послѣ обѣденнаго сна, довольный и улыбавшійся, жалъ въ своихъ большихъ, волосатыхъ рукахъ его руку, трепалъ ласково ее по щекѣ, какъ дѣвочку, приглашалъ къ чаю, и она начинала разсказывать мужу длинно и связно, мѣшая ложечкой чай, какъ просто и мило они провели время, какъ видѣли зайца на межѣ, и какъ красиво заходило солнце. Мужъ слушалъ ее, прихлебывалъ чай и медленно, видимо, не думая и не слѣдя за разсказомъ, отъ времени до времени произносилъ ни къ чему неотносящееся: „Такъ“. Или: „Ну, и прекрасно!“... И наивно вскидывалъ то и дѣло глазами.

А тотъ, который сидѣлъ противъ него и зналъ, что

весь разсказъ о прогулкѣ, васильках и солнцѣ есть ложь,—сторожъ ихъ тайны, — мучился и все время думалъ о томъ, что вѣрить ея словамъ нельзя, и что мужъ ея долженъ быть глупымъ, или хитрымъ.

Всегда—въ это именно время,—за чаемъ, ему бросался въ глаза маленькій—лѣтъ пяти—черный мальчикъ, съ грустнымъ взглядомъ и ямочками на щекахъ, сынъ ея,—Коля. И отъ этого робкаго взгляда съ потонувшимъ въ немъ большимъ горемъ Ракитину становилось тѣсно въ этомъ кружкѣ и онъ вставалъ, прощался и уходилъ, а по дорогѣ думалъ все о ней,—о томъ, что она осталась тамъ, за чайнымъ столомъ, съ людьми, которымъ она необходима, и которые ее не отдадутъ никому, что ему нужно итти въ свою одинокую комнату, и что онъ совсѣмъ, совсѣмъ не знаетъ ни ея жизни, ни того, что она дѣлаетъ и думаетъ, когда онъ не съ ней; ни того прошлаго, въ которомъ она жила и чувствовала, и которое ее воспитало, укрѣпило привычки ея и привело къ этому полному и довольному мужу.

А на другой день они встрѣчались опять и опять были радостны, и улыбались подъ музыку лѣтней сказки въ сіяніи молодой любви.

Такъ ходили они по однимъ и тѣмъ же мѣстамъ, ежедневно въ одни и тѣ же часы, — въ дни поднимающихся ароматовъ бѣлыхъ ландышей, сѣрой и красной сирени, и въ пору отцвѣтающаго лѣта.

И только тогда, когда земля заблестѣла темнымъ золотомъ,—послѣдней вспышкой погасшей красоты,—и сердито, какъ капризный ребенокъ, забулькалъ ручей, пришлось перебраться въ городъ.

Въ послѣдній разъ, идя по знакомымъ дорожкамъ, ласково и тихо говоря, она сорвала цвѣтокъ ржи,

бронзовый, сгорѣвшій на солнцѣ, и, снявъ съ своей шеи медальонъ, положила его туда.

— Нагнись!—сказала она и наклонившемуся Ракитину надѣла медальонъ на шею и крѣпко сжала ее въ своихъ объятіяхъ.

И обоимъ было грустно отъ предчувствія разлуки съ мѣстомъ, гдѣ они сошлись, и съ лѣсомъ, знавшимъ ихъ тайну, и съ ручьемъ, слышавшимъ ихъ слова признанья, печали и восторга, и оттого, что умерло лѣто и увяли цвѣты.

III.

Въ городѣ не было ни простоты, ни свободы, ни свѣжести и въ ихъ отношенія вторглась посторонняя сила — тягостныхъ обязательствъ, нужныхъ дѣлъ и неизбѣжныхъ гостей. И ему казалось, что онъ, съ своими думами и своей любовью отодвинулся куда-то въ тѣнь и сталъ маленькимъ и незамѣтнымъ, а ложь вокругъ него стола расти и та, которую онъ любилъ, перестала быть только его радостью, а стала общей радостью для всѣхъ.

И слѣдя за ея поступками, взглядами и гостями, онъ началъ понимать, что она связана съ цѣлымъ міромъ, котораго онъ не зналъ, и что такой,—легко лгущей и смѣлой въ шуткахъ,—она могла сдѣлаться только въ теченіе долгаго времени, о которомъ онъ не имѣетъ понятія.

Когда за ужиномъ она пила вино, по-дѣтски пригибая стаканъ ко рту, маленькому и красному, онъ думалъ что къ этому ее пріучали, что такъ она дѣлала и прежде, и ему жадно хотѣлось войти внутрь этой женщины,

заглянуть во всѣ ея тайники, гдѣ успѣло спрятаться, прошлое и часто, оставаясь съ ней вдвоемъ, и пристально смотря въ ея глаза и на ея голову, онъ говорилъ ей, цѣдя слова:

— Разрѣзать бы эту крышку черепа и посмотрѣть туда и увидѣть бы все и успокоиться!

А она смѣялась:

— Успокоиться!..

— Да, великое счастье любить, но велики любви печали... И я нашелъ свою печаль...

— Какую?—спрашивала она и заглядывала въ него своими горячими и мягкими глазами.

— Твое прошлое,—отвѣчалъ онъ,—прошлое, въ которомъ меня не было, и въ которомъ была ты и, быть можетъ... еще кто-нибудь...

И то, что прежде, до ихъ сближенія, она упоминала часто о своей прежней жизни, о побѣдахъ и радостяхъ, а теперь замолкла объ этомъ и перестала вспоминать, мучило его и волновало, селя подозрительную недовѣрчивость въ его душѣ, и заставляя предполагать и разгадывать.

Въ ея задумчивости онъ сталъ видѣть воспоминанія, въ ея улыбкахъ—выученный пріемъ. Онъ зналъ, что воспоминанія сильнѣе насъ, живущихъ въ настоящемъ людей. что это настоящее только удовлетворяетъ—и то недолго, и то въ рѣдкія минуты счастья,—прошедшее же дразнитъ и тянетъ къ себѣ, потому что въ самой памяти объ ушедшей жизни есть нѣчто печальное и возвышенное, и оттого благородное и прекрасное. И отъ этого сознанія ему становилось больно, какъ отъ укуса змѣи: такое тонкое и злое ощущеніе было отъ этой острой и ядовитой муки.

И пока росъ внутри его этотъ мохнатый звѣрекъ

ревности, ему было тяжело, какъ будто нося въ душѣ и выращивая его, онъ, какъ беременный, отдавалъ ему всѣ свои соки и всѣ силы. Но когда звѣрь выросъ и сталъ на ноги, онъ понялъ, что надо дѣйствовать.

И то, что жгло его, былъ вопросъ, одинъ ужасный въ своей неразрѣшимой тайнѣ вопросъ: не тѣло,—душа ея, то божество, что составляетъ великую и загадочную сущность женщины,—ея любовь—принадлежала ли кому-нибудь прежде,—до него? И такъ ли тотъ, другой, наслаждался этой сущностью и такъ же ль цѣнилъ ее, какъ наслаждается и любитъ онъ?

И чѣмъ чаще были встрѣчи ихъ, и чѣмъ больше вдумывался онъ въ нее, тѣмъ съ бо́льшей болью ясности угадывалъ онъ, что былъ такой человѣкъ, что она его помнитъ, что въ ея мозгу, въ воспоминаніяхъ и привычкахъ любви имъ проведена борозда, и что стереть эту борозду уже нельзя ни ему, ни мужу, ни даже самому времени.

Еще разъ обжегшись этимъ отвѣтомъ и испугавшись его, онъ спустилъ съ цѣпи выросшаго звѣря, и, понявъ, что ему дѣлать, сталъ искать.

Обостренныя, словно отточенныя, мысли его летѣли по этому пути исканія и догадокъ и было въ этомъ процессѣ что-то растравляющее, жестокое и сладостное.

Ему рисовалось: волны души ея, бѣгущія отъ берега до берега, отражаютъ небо воспоминаній ея прошлаго и богъ въ этомъ небѣ—тотъ, другой...

И онъ занялъ, по праву перваго, нагорный берегъ ея души, а ему остался низкій, который заливаютъ всегда и непрестанно волны, идущія отъ того берега и отражающія образъ человѣка, царящаго на немъ и избраннаго первымъ. Въ ея любовь разъ навсегда ворвалась сила прошлаго, какая-то незамѣтная, но крѣпкая сила привы-

чекъ и переживанья, и для ласкъ и лжи запретной и тайной любви ее воспиталъ другой.

И рабская, безсильная и потому неспокойная злоба зажгла его голову и душу,—и не счастье и не радость слышались ему въ ея словахъ любви, а формулы былого чувства, заученныя съ другимъ человѣкомъ.

Поцѣлуи и объятья, признанья и ласки перестали быть сладостными и сдѣлались подозрительными, и будили не чувство и трепетъ, а ревнивую и слѣдомъ идущую, настороженную мысль...

Она понимала ужасъ ширившейся въ немъ ревности, и обоимъ становилось тяжело, какъ отъ чего-то недоговореннаго, и неловко, какъ людямъ, взаимно обманывающимъ другъ друга. И трусливая нота тоски зазвучала въ ихъ словахъ и въ ихъ ласкахъ.

IV.

Вѣру человѣческую направляетъ воля и Ракитинъ, разъ захотѣвъ повѣрить въ тайну скрытаго прошлаго, нашелъ то, что искалъ и что хотѣлъ найти.

Одно ничтожное обстоятельство, мелочь, которую нельзя было замѣтить—поразило его и озарило путь его ищущей мысли. Обстоятельствомъ этимъ были двѣ карточки одного и того же человѣка, которыя увидѣлъ онъ въ ея зеленомъ перламутровомъ альбомѣ.

На одной изъ нихъ онъ былъ снятъ съ палитрой и кистью въ рукѣ, сидящимъ предъ мольбертомъ, на другой—во весь ростъ. И то, что никого не было больше снятымъ дважды, указало ему на того, кого онъ разыскивалъ на горномъ берегу ея души, и кѣмъ онъ мучился, не находя.

Затаившись и ни слова не сказавъ ей, онъ побѣжалъ въ фотографію и досталъ снимокъ съ негатива, а доставъ, сталъ выспрашивать всѣхъ, кто могъ на это отвѣтить: кто этотъ человѣкъ?

Но никто не могъ отвѣтить на этотъ вопросъ, никто не зналъ его, и Ракитинъ вспомнилъ, что слѣдовало спросить у фотографа.

Но такъ какъ было неловко итти съ этимъ къ человѣку, который ему сдѣлалъ снимокъ, какъ знакомому, то онъ рѣшился на послѣднее средство и, какъ ему казалось, лучшее изъ всего, что онъ могъ придумать. И чѣмъ больше онъ думалъ объ этомъ найденномъ способѣ, тѣмъ больше изумлялся: какъ не могла притти ему эта простая и великолѣпная мысль раньше?

Однажды вечеромъ, когда они сидѣли вдвоемъ на отоманкѣ,—она съ книжкой на колѣняхъ, онъ—поигрывая ножичкомъ, острымъ и кривымъ, который всегда висѣлъ на стѣнкѣ ея будуара, и который онъ любилъ держать и вертѣть въ рукахъ,—онъ небрежно вынулъ изъ кармана сюртука пачку бумагъ и, какъ бы разыскивая что то, сталъ раскладывать листокъ за листкомъ, медленно, не торопясь, разглаживая ихъ, словно совершая дѣло, не требующее спѣшности.

Такъ вынималъ онъ, раскладывалъ и разглаживалъ листъ за листкомъ и, ничего не предвидя и не предугадывая, она спокойно смотрѣла на это занятіе.

Наконецъ, на самый верхъ онъ положилъ карточку человѣка съ палитрой и кистью, вздохнулъ и сказалъ:

— А это—мой другъ одинъ...

И взглянулъ на нее. Вся вспыхнувшая, со страхомъ въ глазахъ, она двинулась впередъ и, плохо сдерживая себя и не выбирая словъ, и выраженій, съ какимъ-то трепетомъ спросила:

— Какъ? Ты... ты развѣ зналъ... его?.. Онъ умеръ...

— Да, зналъ... онъ—хорошій...

И встрѣтившись глазами съ ея внимательнымъ и неподвижно устремленнымъ на него взглядомъ, онъ задрожалъ отъ тайной радости удовлетвореннаго человѣка, обрѣтшаго свою вѣру.

Но опять сдержался и опять не сказалъ ничего: предчувствіе чего-то большаго, что онъ могъ еще найти и долженъ былъ разыскивать, наполнило его трепетнымъ огнемъ предчувствующей радости.

И былъ еще одинъ предметъ въ томъ домѣ, притягивавшій его любопытство.

На ея будуарѣ стояла небольшая и массивная золотая шкатулочка. Ничего не было въ ней особеннаго и ничѣмъ не выдавала она того, что хранитъ въ себѣ, но его интересъ къ ней не проходилъ никогда: словно какая-то внутренняя непонятная и странная сила его толкала къ ней и заставляла желать заглянуть туда.

Не одинъ разъ уже спрашивалъ онъ: „что въ ней такое?“,—и всегда отвѣтъ былъ полушутливый и набрежный:

— Золотыя вилочки, — ничего больше, мой милый!

И такъ какъ свой вопросъ онъ предлагалъ ей часто, и отвѣтъ былъ неизмѣнно одинъ и тотъ же, то иногда—теперь въ рѣдкія минуты нѣжной наивности,—онъ цѣлуя ея руки,—палецъ за пальцемъ—какъ отецъ цѣлуетъ своихъ дѣтей,—шутя говорилъ, ласкаясь и смѣясь:

— Вотъ мои золотыя вилочки!..

И смѣялась она.

...Зимой Ракитину пришлось уѣхать, какъ онъ разсчитывалъ, недѣли на двѣ: умеръ его дядя, и нужно было ѣхать въ уѣздный городъ петербургской губер-

ніи,—на похороны и за полученіемъ наслѣдственной доли.

Предъ отъѣздомъ онъ зашелъ проститься съ ней, выбравъ для этого часы утреннихъ визитовъ, и пріѣхавъ въ необычное для него время, засталъ и мужа. Все такой же—полный и покойный—онъ вышелъ къ нему и также жалъ ему руку въ своихъ большихъ и волосатыхъ рукахъ. И при видѣ этого довольнаго и, — какъ казалось Ракитину,—равнодушнаго ко всему человѣка въ душѣ его поднялась животная злобная ненависть. Онъ ненавидѣлъ его въ эти минуты за все: за его спокойствіе, за красивую жену, которой онъ не стóилъ, и, главное, за то, что онъ не ревнуетъ и не слѣдитъ за ней.

А когда мужъ ушелъ—онъ былъ всегда занятъ—Ракитинъ сказалъ ей, между прочимъ:

— Какъ жаль, что онъ неподозрителенъ... и не золъ...

— Тебѣ и обоимъ намъ было бы хуже,—отвѣтила она.

— Н-нѣтъ... не хуже... Потому что, если бы онъ былъ подозрителенъ, онъ смотрѣлъ бы за тобой и я могъ бы оставаться покоенъ въ эти дни. Если бы при этомъ онъ былъ еще золъ, онъ мучилъ бы тебя изъ-за меня... И тогда тебѣ жилось бы тяжело и не оставалось бы времени мечтать... и...

Но она перебила и съ негодованіемъ въ голосѣ бросила ему въ лицо:

— Глупо! и нехорошо!.. Какъ мало любви въ твоихъ словахъ!

Она пріѣхала проводить его на вокзалъ и, когда, украдкой, какъ воры, они поцѣловались въ вагонѣ, она закрыла ему глаза руками и спросила:

— Ты можешь представить насъ вдвоемъ — и меня,— не видя...

— Нѣтъ, не могу.

Тогда онъ захотѣлъ сдѣлать то же самое и также закрылъ глаза ей:

— А ты?

— Я, конечно, представляю себѣ... Ясно, все, до послѣдней твоей черточки...

О, ты представляешь!—подумалъ Ракитинъ...—Еще бы! ты все свое прошлое носишь съ собой... О, ты представляешь, навѣрное, хорошо...

V.

Сидя въ вагонѣ, онъ думалъ, что если даже онъ и первый въ ея жизни, то и тогда, при такомъ человѣкѣ, какъ ея мужъ, онъ не можетъ быть покоенъ за то,— послѣдній ли онъ. И возбужденное воображеніе въ ненасытной жаждѣ картинъ и красокъ гнало его догадки все впередъ и впередъ, бросая ихъ въ прошлое, раскрывая имъ будущее, рисуя ужасныя въ своемъ безконечномъ счастьѣ сцены любви ея къ другому, быть можетъ, уже ушедшему, быть можетъ, еще не пришедшему. Ея жизнь онъ считалъ легкой и праздной и зналъ, что поэтому измѣны ея должны быть простыми, нужными ей и забавными. И вдругъ мысль, какъ захваченная врасплохъ, остановилась на одномъ: „А что, если бы въ ея жизнь внести драму, непоправимое никогда несчастье... Если бы ударить ее по совѣсти и, заставивъ присѣсть къ землѣ, отучить отъ мечты и ея спутниковъ, воспоминаній о прошломъ. Тогда потемнѣетъ и потускнѣетъ прошедшее“...

Въ томъ, что прошедшее есть, онъ былъ убѣжденъ всѣмъ чувствующимъ существомъ человѣка, и теперь хотѣлось только узнать,—насколько глубоко оно вошло въ нее, какъ широко захватило въ правахъ на ея жизнь, и какіе слѣды оставило въ настоящемъ и будущемъ.

Прислонившись лбомъ къ холодному окну, онъ глядѣлъ на мелькавшія мимо снѣжныя равнины, уходившія вдаль, на лиловыя полосы лѣсковъ съ выбѣжавшими на опушку (какъ сироты въ бѣлыхъ платьицахъ) молодыми березками, о чемъ-то наивно и робко просившими у катившихся сердитыхъ поѣздовъ; на занавѣси тумановъ надъ болотами, на нестройныя точки высокихъ птицъ.

...— „Вѣрилъ и любилъ, но когда и гдѣ— не помню,— все теперь забылъ",—повторялъ про себя Ракитинъ, стараясь попасть въ тактъ поѣзда, и все это время не попадая, и оттого раздражаясь... „Все теперь забылъ".

Все дразня себя, онъ вынулъ карточку художника и сталъ всматриваться въ его лицо, и сначала самого его удивившая мысль показалась ему соблазнительной и правдоподобной. Коля—не отъ мужа. Коля—ребенокъ этого человѣка. Коля—и есть то воспоминаніе, съ которымъ ей нельзя разстаться. Только Коля,—никто больше,—связываетъ ее съ ея прежнимъ и отжитымъ, въ немъ одномъ оно воскресаетъ и тянется своими золотыми вилочками съ того нагорнаго берега къ нему.

И онъ сталъ припоминать черты мальчика: до поразительности схожій (какъ онъ могъ не замѣтить этого прежде?), живой маленькій слѣпокъ съ „того", какъ жизнь на крошечномъ холстѣ,—вотъ какимъ онъ показался Ракитину теперь.

Онъ готовъ былъ слѣзть на первой же станціи, взять обратный билетъ и вернуться, но сообразивъ всю невоз-

можность этого и всю нелѣпость, откинулся въ уголъ дивана и забылся.

Золотыя вилочки, но не маленькія, а огромныя, встали передъ нимъ въ рядъ и выставивъ впередъ свои зубцы, острые, ехидные и длинные, хоромъ кричали подъ шумъ колесъ: „Мы—золотыя вилочки, золотыя вилочки“...

И тянулись къ нему, а онъ пятился къ какой то пропасти, гдѣ что-то шумѣло, какъ волны... „Волны ея души“, пронеслось у него въ спавшемъ и встревоженномъ мозгу. Тотчасъ же вилочки перекинулись черезъ шумящую бездну, и тонкія золотыя коготки ихъ потянулись опять къ нему.

VI.

Послѣ похоронъ дяди Ракитинъ тотчасъ же сдалъ дѣла и уѣхалъ и съ вокзала прямо отправился къ ней. Стрѣлки часовъ продольной линіей раздѣлили кругъ пополамъ, показывая шесть.

Онъ ѣхалъ и что то дрожало въ немъ, словно предсказывая и предвѣщая какое-то большое и полное торжество. Свѣтлая лунная полоска робко пролегла между трубъ большого краснаго дома съ зіявшими черными окнами, лаяли кое-гдѣ собаки, а въ душѣ было такъ много движенія и такъ сильно стучало внутри его сердце, что онъ не удержался и вслухъ сказалъ: „будетъ—что-то“.

Она сидѣла въ своей комнатѣ, когда онъ, не позвонившись и войдя черезъ задній ходъ, появился передъ ней. Отъ неожиданности и испуга она ахнула, а его рука уже захватила золотую шкатулку, отпертую и

открывшую теперь всѣ свои тайны. На колѣняхъ и около валялись письма,—бѣлые, цвѣтные и оборванные листочки.

И онъ схватилъ ихъ и сталъ читать.

Неподвижно, спокойно и жадно смотрѣли его глаза въ эти мелкія торопливыя строчки, вглядывались въ рисованныя рукой виньетки и инициалы и побѣдное чувство удовлетворенія наполняло его душу. Теперь онъ зналъ все, все прошлое было раскрыто предъ нимъ и въ немъ читалъ онъ, какъ въ раскрытой книгѣ, ловя все, что есть дорогого въ человѣкѣ—слова его любви,—и упиваясь самымъ загадочнымъ въ ней, снами ея прошлаго.

Прочитанные и смятые, падали листки за листками, какъ отслужившіе и ненужные слуги. Она не пробовала вырывать, не протестовала, не плакала: вся-ли тайна, полтайны—развѣ это не все равно? И дочитавъ послѣднее и бросивъ его, онъ открылъ шкатулку, которую держалъ все время, и увидѣлъ на днѣ три маленькія золотыя вилочки. Онъ выбросилъ и ихъ, и тихо стукнувъ о коверъ, съ легкимъ звономъ онѣ упали къ ея ногамъ.

Не зная, что дѣлать, на что рѣшиться и, потерявъ нить мыслей своихъ, онъ медленно сталъ собирать разбросанныя бумажки и осторожно класть ихъ назадъ въ шкатулку и дѣлалъ это съ такимъ упоеньемъ, что она не выдержала и у нея вырвалось:—Злой!..

Собравъ все и поставивъ на мѣсто, онъ сѣлъ противъ нея и оба молчали. Она опустила голову и не хотѣла смотрѣть на него, а онъ сидѣлъ напротивъ и вертѣлъ ея ножикъ—острый и кривой—который всегда висѣлъ у нея на стѣнѣ и который онъ любилъ держать въ рукахъ,—и съ насупленнымъ лицомъ остановился

глазами на трехъ вилочкахъ, разбросанныхъ у ея ногъ.

Послышались шаги и входилъ мужъ. Бѣлымъ носовымъ платкомъ онъ вытиралъ мокрые отъ холода усы и полное лицо, съ морозу раскраснѣвшееся больше обыкновеннаго, и еще издали, улыбаясь и протягивая руку, спрашивалъ:

— Ну-съ, что у васъ тутъ?..

— Такъ... мы тутъ вотъ говорили... Такъ... говорили... бормоталъ, самъ не понимая смысла словъ, Ракитинъ и вертѣлъ подъ столомъ ножъ и смотрѣлъ на его блескъ, ровный и ясный, мигающій во время поворотовъ,—когда пряталась одна грань клинка и открывалась другая.

И вдругъ, словно поднятый кѣмъ-то, всталъ. И безъ стука, безшумно ткнулъ руку впередъ, въ високъ этого полнаго и еще тяжело—отъ мороза и скорой походки—дышавшаго человѣка.

Тонкая дощечка виска подалась безъ сопротивленія, и мигающая блескомъ сталь скрылась за этой перегородкой. И вслѣдъ за этимъ, сейчасъ же, по полному лицу протянулась струйка крови, какъ красная тесемочка, рядомъ съ ней другая и третья, и уширившись книзу, онѣ слились въ густой красный шарфъ, и одинъ конецъ его быстро спустился по твердому полотну сорочки, а другой спрятался подъ ея воротникъ.

И изъ круглой груди вырвался стонъ—глухой, нерѣзкій, покойный, одинъ ужасъ неожиданности сказался въ немъ. Съ приподнятыми кверху руками покачнулось тяжелое тѣло и на подогнувшихся ногахъ полетѣло назадъ и рухнуло на полъ.

А она вскочила и, разомъ понявъ все, схватившись

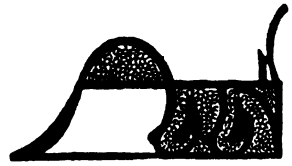
за голову, но не двигаясь, точно прибитая къ мѣсту, кричала:

— Уберите Колю! Уберите Колю! А то, а то... Уберите...

Не слушая ея криковъ, съ ужасомъ въ головѣ и какой-то странной легкостью во всемъ тѣлѣ, Ракитинъ, не помня себя, черезъ что-то перепрыгнувъ, что-то уронивъ, несся по комнатамъ и, выскочивъ на улицу, безъ шапки летѣлъ, какъ вихрь, по скрипучему бѣлому снѣгу по направленію къ мельницѣ.

...Было морозно, и въ тихой небесной дали круглый мѣсяцъ тоже бѣжалъ быстро-быстро, среди дымчатыхъ и бѣлыхъ тучъ подъ свѣтлой, голубой вуалью.

Февраль.—Мартъ.
1902 г.



У фабричной трубы.

I.

Студентъ Дурновъ, сынъ купца, полный, но болѣзненнаго вида, съ припухшимъ лицомъ и слезящимися глазами, перейдя на пятый курсъ, сталъ чувствовать въ ногахъ тяжесть и страдать безсонницей, такъ что, если-бъ ему пришлось снова, какъ въ прежніе года, готовиться къ лекціямъ и репетиціямъ и ежедневно бывать въ техническомъ училищѣ, и такой же длинной дорогой возвращаться назадъ, то онъ, навѣрное, не выдержалъ бы и бросилъ.

Семья его—отецъ, сестра и младшій братъ, гимназистъ (мать умерла три года тому назадъ, когда онъ былъ еще на второмъ курсѣ)—жила въ губернскомъ городѣ В. Оттуда онъ получалъ ежемѣсячно по сорока рублей, и на нихъ жилъ.

Рыхлый и неспособный, гимназію онъ кончилъ, благодаря близкому знакомству его семьи со всѣмъ гимназическимъ начальствомъ; съ перваго на второй курсъ перешелъ съ подготовкой профессора, а дальше репетиціи и экзамены благополучно сдавалъ случайно, по счастью. Теперь оставалось представить только проектъ, который можно было заказать и не трудно

было защитить, въ училище ходить было не нужно и часть дня онъ проводилъ дома, преимущественно лежа на диванѣ, а въ остальное время сидѣлъ въ ресторанѣ, читалъ газеты и пилъ много пива.

Каждый годъ лѣтомъ онъ уѣзжалъ къ роднымъ, квартиры за собой не оставлялъ и каждой осенью мѣнялъ свое мѣстожительство. Въ этомъ году онъ снялъ комнату у бывшей драматической актрисы, немолодой—лѣтъ подъ пятьдесятъ—женщины, у которой была воспитанница. Училась она въ театральномъ училищѣ; тамъ же она жила и къ актрисѣ пріѣзжала только по большимъ праздникамъ, когда отпускали дня на три, на недѣлю, или больше. И въ первый разъ Дурновъ увидалъ ее только на Рождествѣ.

Однажды, когда онъ читалъ, по обыкновенію, лежа на диванѣ, лѣнивой мыслью слѣдя за быстрыми шагами, которыми велъ романистъ своего героя къ славѣ и счастью, онъ услышалъ въ передней топотъ ногъ, отряхавшихъ снѣгъ, и голоса и среди нихъ одинъ, тоненькій и незнакомый. А черезъ часъ къ нему постучали, и голосъ актрисы спросилъ:

— Слушайте, Дурновъ, хотите познакомиться съ Сашей?

— Сейчасъ,—отвѣтилъ охрипше, отъ долгаго молчанія, Дурновъ, безъ нужды оглядѣлся, обдернулся и пошелъ на хозяйскую половину.

Познакомились просто. Дурновъ сѣлъ противъ Саши и молчалъ, изрѣдка взглядывая на нее исподлобья. Говорила все время сама актриса, а въ четыре часа—время обѣда—Дурновъ всталъ и вышелъ.

На другой день, по просьбѣ Саши, онъ ходилъ вмѣстѣ съ ней за покупками на Кузнецкій мостъ, и тутъ только разговорился въ первый разъ. А когда

вернулись, то самъ,—даже безъ всякаго приглашенія, пришелъ въ комнату актрисы.

Саша разсказывала съ юношескою откровенностью и милой простотой кокетливой довѣрчивости о школѣ и подругахъ, о своихъ надеждахъ и учителяхъ.

— Какъ мы проводимъ время? Учимся... И это такъ скучно, Дурновъ...

Всѣ—и товарищи, и знакомые, и лакеи въ ресторанахъ—никогда не называли Дурнова по имени, ограничиваясь въ обращеніяхъ къ нему одной фамиліей: Дурновъ.

— Такъ—таки всегда скучно?

— Нѣтъ, не всегда.—Саша наклонила голову, улыбнулась и спросила:

— Вы не будете смѣяться?

— Нѣтъ, само собой...

— Намъ бываетъ весело, вотъ, когда... Потушатъ лампы, оставятъ въ спальняхъ только одни фонарики, зеленые такіе, темноватые, ихъ у насъ завѣшиваютъ зеленымъ кашемиромъ... Ложится полумракъ, не свѣтлый, не темный, а такой, какой бываетъ на болотахъ въ лунную ночь... Кругомъ мертво, всѣ спятъ и, вотъ, тогда мы—я и двѣ подруги—тихо приподымаемся и тихо, на цыпочкахъ, крадемся въ послѣднюю пустую камеру дортуара. Мы подпоясываемся цвѣтными поясами и воображаемъ, что мы—русалки, танцуемъ, и хохочемъ, и возимся, и цѣлуемся... и разъ... даже плакали.

Лицо ея стало свѣтлымъ, расширились зрачки и отъ вспыхнувшей мечты неровно дышала грудь. Только жаль—пѣть нельзя, а пѣть такъ хочется.

— А лѣтомъ вы тоже сюда пріѣзжаете?

— О, нѣтъ, мы на дачѣ.

Она задумалась.

— Лѣто я такъ люблю. Я люблю сидѣть съ кѣмъ нибудь до утра на скамейкѣ и говорить,—говорить и смотрѣть какъ умираютъ золотыя звѣзды въ черномъ небѣ, и какъ отъ этого свѣтлѣетъ небо, словно каждая такая смерть смягчаетъ тьму жестокой ночи.

— А о чемъ говорить?

Она засмѣялась и сказала:

— Да ни о чемъ, Дурновъ... Можно и не говорить, тогда и молчаніе лучше словъ. Особенно, если впереди лѣсъ. Смотришь и кажется, будто кто-то сильный и злой схоронился и ждетъ своей жертвы. А подъ самое утро, когда станетъ ясно и свѣжо, чтобъ крѣпче заснуть, пускаешься бѣгомъ домой. Бѣжишь вдоль лѣса, и уже не злой, а кто-то свѣтлый бѣжитъ рядомъ съ тобой, по ту сторону опушки и мелькаетъ между деревьями. Когда лѣсъ кончился, нѣтъ больше свѣтлаго спутника.

Она откинулась на спину кресла.

— Дурновъ, куда онъ дѣвается?

— Кто?

— Да этотъ, свѣтлый...

Дурновъ нахмурился и вздохнулъ.

— Не знаю,—пробурчалъ онъ.

О себѣ Дурнову разсказывать было нечего. Для фактической стороны достаточно было нѣсколько словъ, простыхъ до того, что ухо воспринимало ихъ машинально, а мозгъ и душу они не трогали совсѣмъ.

Ѣлъ, пилъ, спалъ, учился, росъ,—вотъ что могъ бы передать Дурновъ о своей жизни. Мечты не было, волненій сердца, мукъ тоски, побѣдныхъ восторговъ, безумной радости—тоже; то ли обходили они его, какъ корабль стремительныя волны, то ли не съ умѣлъ онъ ихъ замѣтить.

И когда Саша попробовала заставить его разсказать объ опытахъ въ техническихъ лабораторіяхъ, то Дурновъ, сбиваясь и; видимо, тяготясь необходимостью снова излагать то, что много разъ до этого приходилось повторять и про себя,—уча,—и вслухъ,—отвѣчая профессорамъ, — объяснилъ ей какую - то перегонку спирта, и отъ этого самъ только усталъ, а Саша ничего не поняла.

...Уже близились къ концу праздники и по ночамъ полный мѣсяцъ освѣщалъ хрустальную дорогу снѣга; и на небѣ тоже выпалъ снѣгъ,—такое оно было рыхлое, бѣлое и блестящее.

Въ послѣдній день, почти предъ самымъ разставаніемъ, много разъ обдумавъ, Дурновъ наконецъ, рѣшился.

Онъ попросилъ у Саши карточку, и она шутя, отговариваясь неимѣніемъ, отказала.

— Полноте, Дурновъ,—успокоила его слышавшая разговоръ актриса,—не хочетъ дать и не надо. Вотъ, что я вамъ посовѣтую,—купите себѣ, вотъ, такой абажуръ, и будетъ у васъ ея карточка.

Саша разсмѣялась, а актриса сняла картонный абажуръ и поднесла къ самымъ глазамъ Дурнова.

На одной изъ граней была изображена дѣвушка, въ общемъ, дѣйствительно, напоминавшая Сашу, только картинка была воздушнѣй и тоньше. И Дурновъ, въ самомъ дѣлѣ, вскорѣ купилъ себѣ такой же абажуръ. И по вечерамъ, когда уставалъ читать, и не шелъ въ ресторанъ, часто подолгу смотрѣлъ на воздушную картинку милой дѣвушки, но зайти въ театральное училище ни разу не осмѣлился. На хозяйскую половину онъ приходилъ теперь часто и всякій разъ заговаривалъ съ актрисой о Сашѣ, но и разспросы его были

робкіе и неуклюжіе, какъ онъ самъ, словно рожденные боязнью, а не любовью, а актриса отвѣчала на нихъ, какъ-то интригующе заинтересовывая его намекающей недомолвленностью и неполнотой.

И все, о чемъ онъ разспрашивалъ и справлялся, было безсистемное, какъ будто случайное, и не обнаруживало ни страстнаго чувства къ Сашѣ, ни сколько-нибудь обдуманнаго плана въ желаніи приблизиться къ ея разгадкѣ и пониманію.

На Пасху Саша къ актрисѣ не пріѣхала. Были экзамены, до лѣта оставалось немного, и отпускъ могъ только помѣшать блестящему окончанію курса, на которое Саша разсчитывала.

Въ серединѣ мая актриса перебралась на дачу, а въ іюнѣ Дурновъ уѣхалъ въ В.

II.

Фабрика, на которой Дурновъ получилъ мѣсто была въ уѣздѣ, отстояла въ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи, сбоку линіи желѣзной дороги, и когда поѣздъ проносился мимо ея одинокой, изъ земли поднявшейся трубы, то пассажиры вздыхали и думали о той тоскѣ, въ которой должны жить заброшенные сюда люди, работающіе на эту длинную кирпичную трубу. Тяжко и ровно, какъ трудно больной, дышала она, съ утра до вечера медленно выкидывая черные клубы копоти и сѣраго темнѣющаго дыма. И Дурнову казалось, что именно отъ этого такъ душно живется, не видно голубой дали и люди чувствуютъ себя рабски, какъ прислужники.

Простаивая по цѣлымъ часамъ въ неподвижной

позѣ у окна, предъ которымъ торчала какая-то состарившаяся постройка, сѣрая и тупо глядящая, онъ зналъ напередъ, кто долженъ пройти, и что случится. Ровно въ двѣнадцать часовъ раздастся протяжный и напряженный гудокъ, и мимо его квартиры громко и шумно пройдутъ рабочіе. Потомъ черезъ часъ снова загудитъ надорваннымъ стономъ, и тѣ же рабочіе, но уже тихо и молча пойдутъ назадъ; они будутъ спѣшить и лица у нихъ будутъ недовольныя. Потомъ дѣвчонка въ красномъ платьѣ, разворачивая пятки, крѣпкой поступью, вперевалочку, поплетется съ двумя судками. Это—за обѣдомъ младшему технику. И къ этому же времени принесутъ обѣдъ и ему самому. Обѣдъ будетъ грубый и невкусный, и ѣсть его можно только уставъ, или сильно проголодавшись.

Жизнь на фабрикѣ была скучная, какая-то затхлая и казенная, и всѣ служившіе здѣсь, кромѣ рабочихъ, старались придумать себѣ какое-нибудь постороннее занятіе.

Самый старшій техникъ, Довгяло, умѣлъ и любилъ играть на скрипкѣ и выпиливалъ,

Младшій, Севастѣевъ, интересовался политической экономіей, много читалъ поэтому и часто велъ продолжительныя бесѣды съ рабочими, давалъ книжки и устраивалъ имъ спектакли и чтенія съ туманными картинами.

Дурновъ же находился всегда безъ дѣла, рѣдко выходилъ изъ дому, и большую часть дня проводилъ попрежнему лежа. И когда, случалось, всѣ трое сходились вмѣстѣ, то говорить было не о чемъ, кромѣ фабрики, ея дня, ея жизни и интересовъ. Дурнова и это не занимало совсѣмъ, и онъ и въ этихъ бесѣдахъ былъ чужимъ, непосвященнымъ и ограничивался тѣмъ,

что отвѣчалъ только на вопросы, да и то съ большимъ затрудненіемъ.

Теперь у него явилась одна привычка, которую онъ не замѣчалъ за собою раньше,—передъ отвѣтомъ переспрашивать, сводить брови, отчего у него на лбу собирались мускулы въ круглые комочки и отъ напряженной мысли глаза дѣлались больше и смотрѣли въ одну точку.

Случилось такъ, что на фабрикѣ умеръ рабочій, и Дурновъ, въ ближайшемъ вѣдѣніи котораго былъ покойный, узнавъ объ этомъ, медленно одѣлся и пошелъ на фабрику. Оказалось, что рабочаго втянула въ себя машина и, нѣсколько разъ повернувъ на своихъ зубцахъ, выкинула обезображеннаго и всего въ крови.

И видъ покойника—сильнаго и молодого мужика—такъ поразилъ Дурнова, что онъ не спалъ обѣ ночи до самыхъ похоронъ, а потомъ въ теченіе цѣлаго мѣсяца, при встрѣчахъ съ рабочими и съ техниками, только и говорилъ, что объ изуродованномъ покойникѣ, пока, наконецъ, Довгяло не сказалъ ему:

— А, знаете, это надоѣдаетъ...

И въ письмѣ къ сестрѣ, которой онъ писалъ рѣдко, Дурновъ подробно остановился на той же самой смерти: „У насъ машина истерзала и убила работника,—который ее вертѣлъ. Она оторвала у него обѣ руки и сняла всю крышку черепа. На него была страшно смотрѣть, послѣ похоронъ меня охватила какая-то робость и я безъ ужаса, вотъ, уже мѣсяцъ, не могу смотрѣть на фабрику и ея трубу, почти не хожу туда, а когда смотрю на рабочаго, то думаю, что и его должна раздавить какая-нибудь машина...“

И по ночамъ Дурновъ сталъ часто просыпаться и все грустныя и тягучія мысли лѣзли къ нему въ го-

лову. Вспоминая о рабочемъ, онъ думалъ о смерти, о тоскѣ и сумрачности своей жизни. И каждый новый день вмѣстѣ со своей томительной ночью и тѣнями, и тоской все сильнѣй и мучительнѣй шаталъ его нервы, и терзалъ его мозгъ, и бороздилъ его душу.

Вопросы, которые мучили его теперь, нельзя было уложить къ опредѣленныя формулы и ясные знаки,— такъ они были спутаны, и смѣшаны, и громоздки.

Но именно отъ этой своей неясности они дѣлались еще огромнѣе, еще темнѣй и страшнѣй. И съ ихъ возрастаніемъ собственная личность Дурнова, которая теперь какъ-то внезапно обособилась отъ всего остального міра и другихъ людей, становилась все меньше, беззащитнѣе и трусливѣе. И сердце сжималось отъ этого сознанія болью страха предъ будущимъ и зловѣщимъ предчувствіемъ какого-то несчастья, бѣды, или конца.

По временамъ Дурнову стало казаться, что онъ заблудился безвыходно въ глухой чащѣ сплетшихся сомнѣній и надорвался отъ чьей-то непосильной тяжести, и что впереди у него нѣтъ дорогъ къ будущему- ни къ покою, ни къ счастью,—какъ теперь нѣтъ силъ.

Все страстнѣе хотѣлъ онъ осмыслить то случайное, угрюмое, и неясное, въ чемъ живетъ онъ, что называется міромъ и судьбой, и отъ чего такъ жутко ему и такъ страшно.

Но безотвѣтный и слабый, молчалъ его умъ и все меньше надеждъ было на исцѣленіе и отдыхъ, и въ безсонныя ночи все упорнѣй вставала предъ нимъ таинственная загадка, облеченная въ образъ погибшаго машиниста, и требовала отвѣта.

Уже къ концу подходила зима, и было грустно и радостно, какъ послѣ разставанія при ожиданіи.

Какъ-то, по случаю возвращенія изъ отпуска, Довгяло пригласилъ къ себѣ Дурнова и Севастѣева—отвѣдать московской икры,—какъ онъ выразился.

Дурновъ принялъ предложеніе и въ этотъ вечеръ много ѣлъ и пилъ и даже оживившись сталъ разсказывать о себѣ и о своей семьѣ, и о томъ, какъ хотѣлось бы ему побывать у себя на родинѣ, въ В.

— Пока не отвѣдаешь столицы, такъ еще ничего, можно жить,—говорилъ Довгяло.—Но послѣ нея наше Заусенское--сущая могила. Взять хоть бы театры.

И Довгяло сталъ разсказывать, сколько разъ и въ какомъ театрѣ онъ былъ и какія пьесы видѣлъ, а подъ конецъ ужина вынулъ изъ своего саквояжа конвертъ съ карточками сценическихъ знаменитостей и показалъ гостямъ. Карточки сперва разсматривалъ Севастѣевъ и потомъ передавалъ Дурнову, который бралъ ихъ машинально, лѣниво вертѣлъ въ рукахъ и возвращалъ хозяину. Всѣ молчали. И въ комнатѣ было тихо, какъ бывало въ ней всегда, безъ гостей. Наконецъ, Севастѣевъ такъ же медленно передалъ Дурнову небрежно повисшую между двумя пальцами медальонную фотографію, такую маленькую, что среди этихъ большихъ кабинетныхъ портретовъ она казалось попавшей по ошибкѣ.

И на ней Дурновъ увидѣлъ голову и бюстъ той, съ которой онъ ходилъ за покупками когда-то на Кузнецкій мостъ, у которой просилъ карточку. Долго онъ всматривался въ фотографію, съ которой глядѣла на него, улыбаясь кокетливой и спокойной радостью, съ добрымъ вызовомъ, пара большихъ сѣрыхъ глазъ.

И надъ его сведенными бровями на лбу опять сбѣжались круглые комочки.

— Какъ фамилія этой актрисы?—спросилъ онъ Довгяло.

— Кронская,—отвѣтилъ тотъ.

И снова Дурновъ приблизилъ къ своему лицу маленькую карточку и снова сосредоточенно сталъ смотрѣть на нее.

Но комочковъ на лбу уже не было, и взглядъ былъ умиленный, восторженный и по лицу бродила, пряталась и вспыхивала улыбка, ясная и добрая, какъ мечта о счастьи.

Когда они шли съ Севастѣевымъ домой, стояла лунная ночь, легкая, ясная и трепетная, и, освѣженному бесѣдой Дурнову хотѣлось говорить много и долго, особенными—красивыми и важными—словами. Тихо шли они, и полный неуклюжій техникъ разсказывалъ Севастѣеву объ ушедшихъ годахъ студенчества, о первой встрѣчѣ съ Сашей, объ ея глазахъ и голосѣ и своей любви къ ней. Онъ говорилъ и самъ удивлялся тому, что слова выходятъ легко и разсказываютъ о томъ, чего онъ никогда не подозрѣвалъ и не зналъ, и что было.

Онъ говорилъ и чувствовалъ, какъ что-то сладкое и радостное подплываетъ къ его сердцу, отъ чего туманится и горитъ голова. И потомъ, когда онъ вернулся домой и не раздѣваясь легъ на кровать, закрывъ глаза и закинувъ руки подъ голову, тоскующая сила незримой радости охватила его угрюмую душу и легкія,—какъ сны любви, хоромъ нарядныхъ дѣвочекъ, слетѣлись къ нему мечты о счастьи, покойномъ и тепломъ.

III.

Недѣли черезъ двѣ Дурновъ взялъ отпускъ и, пріѣхавъ въ Москву, розыскалъ по справкѣ адреснаго стола Александру Аѳанасьевну Кронскую. Она жила въ Петровскомъ паркѣ, и Дурновъ засталъ ее въ цѣломъ обществѣ какихъ-то полныхъ дамъ и бритыхъ мужчинъ.

Она приняла его, и съ неловкой робостью поздоровавшись со всѣми, обтирая платкомъ крупныя капли пота на съежившемся лбу, Дурновъ сѣлъ и молчалъ всѣ два часа, пока не ушли гости. А когда они ушли, всталъ и Дурновъ—простился и вышелъ. И не оправившись отъ встрѣчи, пошелъ въ лѣтній театръ.

Въ антрактахъ, большой и неуклюжій, переваливаясь онъ ходилъ по садовымъ дорожкамъ, кому-то наступилъ на ногу и неловко задѣлъ плечомъ двухъ пѣвицъ, и одна изъ нихъ, захохотавъ, громко крикнула ему вслѣдъ:

— Стоеросовый! Трехсаженный!

Походивъ еще нѣсколько времени, самъ не зная зачѣмъ, онъ подошелъ къ тиру, гдѣ стрѣляли изъ ружей въ бѣлыя фигурки, но ни разу не попалъ, и стоявшій рядомъ съ нимъ, повидимому, купецъ въ поддевкѣ, замѣтилъ:

— Эхъ, господинъ, ничего у тебя не выходитъ.

На другой день Дурновъ опять отправился къ Александрѣ Аѳанасьевнѣ и на этотъ разъ засталъ ее одну, за роялью.

Онъ пощипалъ свой голый подбородокъ и, собравшись съ духомъ, наконецъ, выговорилъ:

— Видите ли, Александра Аѳанасьевна, я вѣдь васъ давно, собственно, знаю...

Онъ хотѣлъ при этомъ улыбнуться и прибавить что-нибудь горячее. прямо отъ сердца, но почувствовалъ, что это у него не выйдетъ и сталъ еще серьезнѣе.

— Да. То-есть видѣлись мы съ вами въ первый разъ тогда, дѣйствительно, давно... Я ужъ, право, не помню, но, кажется, года два-три тому назадъ.

Дурновъ опять сморщилъ лобъ, потеръ его и сказалъ раздумчиво:

— Да, около того, два, или три года... Да-съ... такъ вотъ...

И замолчалъ.

Александра Аѳанасьевна неловко повернулась на стулѣ, закинула голову и, глядя своими, попрежнему ласковыми сѣрыми глазами, какъ казалось, прямо ему въ душу, тихимъ, пѣвучимъ,—звука струны,— голосомъ спросила:

— Ну-съ, что изъ этого?

И у Дурнова сразу почти безсознательно вырвалось:

— Хочу, чтобъ вы были моей женой, потому что...

Но Александра Аѳанасьевна не дала ему докончить. Шаловливая стая веселыхъ сѣренькихъ птичекъ вылетѣла изъ ея глазъ, и она захохотала громко и такъ искренно, что у Дурнова внутри все стало холоднымъ. И тотчасъ же ставъ серьезной, она произнесла, стараясь быть мягкой и ласковой:

— Милый другъ, я не могла бы стать вашей женой, даже хорошо и, дѣйствительно, давно зная васъ... И даже любя васъ... А теперь... такъ, вдругъ... Богъ съ вами, Дурновъ...

И произнеся это слово—Дурновъ, она вдругъ почувствовала себя просто и шутя прибавила:

— Дурновъ, да вы здоровы?

И опять засмѣялась и, взявъ его руку, потрепала по ней, широкой и мясистой, своей тонкой ладонью, какъ это дѣлаютъ всегда, когда нужно успокоить дѣтей, или младшихъ.

Вяло всталъ Дурновъ; безсмысленно смотря внизъ на свои ноги, кивнулъ головой, словно поддакнулъ кому-то, и вышелъ.

Было свѣтло, солнечно и въ далекомъ небѣ плыли круглыя облачки, прозрачныя и легкія, какъ розовая вата, и смотрѣть на нихъ было пріятно, какъ на счастливыхъ дѣтей.

И Дурновъ думалъ, что гдѣ-то есть счастье, которое только ему трудно, или нельзя найти, и что жизнь его обречена на жертву фабричной трубѣ, которая заволакиваетъ своимъ дымомъ чистое небо, мѣшаетъ дышать и радоваться, унылыми дѣлаетъ дни и страшными—ночи. Онъ шелъ, и въ тяжеломъ и больномъ тѣлѣ ныла его затерянная душа, и мысли, тягучія, усталыя, тусклыя тянулись, какъ осеннее стадо дикихъ птицъ—печально и вразбродъ. И какъ будто навстрѣчу имъ простоналъ гдѣ-то далеко фабричный гудокъ.

Возвратившись въ Заусенское, Дурновъ поразилъ всѣхъ своимъ страннымъ видомъ. Онъ не отвѣчалъ ни на одинъ изъ вопросовъ, не кланялся, на фабрику не заходилъ совсѣмъ а на третій день, 29-го іюня, на Петра и Павла, застрѣлился.

И когда по фабричному поселку разнеслась вѣсть о самоубійствѣ техника Дурнова, то неожиданность ея никого не поразила,—во-первыхъ, потому, что Дурновымъ никто не интересовался и всѣ мало знали его, и, во-вторыхъ, оттого, что всѣ находили его страннымъ и считали поэтому ненормальнымъ.

Съ почернѣвшимъ насупленнымъ лицомъ онъ лежалъ на своемъ диванѣ, гдѣ проводилъ и большую часть своей жизни. Надъ бровями легла морщинистая складка, и лицо отъ этого было злымъ и удивленнымъ, а самъ покойникъ страшный въ своей притаившейся неподвижности.

Казалось разсерженный, онъ только прилегъ, быть можетъ притворился, чтобы подсмотрѣть, какъ ведутъ себя люди около смерти.

Такъ какъ священника не нашлось по близости, то хоронили на третій день къ вечеру. Было вѣтряно и далекимъ пожаромъ горѣло вечернее небо. И чудилось что-то зловѣщее въ этихъ алыхъ полосахъ, легшихъ по зеленоватому—цвѣта болотной воды—фону.

Среди надписей на вѣнкахъ, которыми украсили его гробъ и изголовье—изъ бѣлыхъ, розовыхъ и голубыхъ цвѣтовъ—были видны разныя: „Товарищу по общему дѣлу“, „Другу рабочихъ,“ но ни на одной не было слова „безвременно“, какъ будто умереть Дурнову всегда было во время.

Май.
1902 г.

Однажды.

I.

Случайность, какихъ много въ этой тинистой жизни, согнала его съ привычной работы и бросила на поиски хлѣба и правъ на слѣдующій день.

Городъ былъ маленькій, грязный и немощеный, кромѣ улицы, гдѣ снималъ квартиру Гавриковъ, и извозчики здѣсь поэтому были только парные.

Жили тутъ преимущественно чиновники, служащіе и отставные, тянули свою скучную линію офицеры, и жирѣли купцы. И отъ этого все въ городѣ было мертво, сонно и ровно, недѣли были похожи одна на другую, и ничѣмъ другъ отъ друга не отличались мѣсяцы.

Такъ же, какъ въ маѣ, играли въ карты въ октябрѣ и также танцовали, и ходили все тѣ же сплетни.

Гавриковъ, помощникъ казначея, служилъ здѣсь уже пятый годъ, и нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ рѣшилъ даже жениться. Вмѣстѣ съ этимъ онъ закрѣплялъ себя навсегда за маленькимъ городкомъ, гдѣ получилъ бы современемъ должность казначея, наплодилъ дѣтей и по вечерамъ, въ теплую іюньскую пору,

пилъ чай послѣ обѣденнаго сна въ саду, съ акаціями и бурьяномъ, съ бесѣдкой и двумя клумбами.

Такъ мечталъ Гавриковъ.

Но случилось негаданно событіе, выбросившее его изъ этой колеи и пустившее бродить въ поискахъ новаго счастья. Событіе было самое заурядное и здѣсь нерѣдкое.

Два сильно подвыпившихъ мѣстныхъ купца, нѣжный Гавриковъ и разсудительный мировой судья, Тонинъ, играли въ карты. Везло особенно Гаврикову и это раздражало двухъ контрпартнеровъ, которыми въ этотъ робберъ были купцы. И когда, открывъ прикупъ, обрадованный Гавриковъ увидѣлъ въ немъ два туза, онъ даже привскочилъ и хотѣлъ крикнуть:

— Вотъ такъ штука! Двухъ тузовъ купили!..

Но, сбившись въ словахъ и заторопясь вмѣсто этого произнесъ:

— Двухъ купцовъ тузили!

Для Тонина, напримѣръ, его ошибка была совершенно ясна.

Но взвинченный карточной неудачей и винными парами, купецъ Крутовъ какъ-то вдругъ поднялся и съ красными, словно налитыми кровью глазами, приблизился вплотную къ лицу Гаврикова. И не успѣлъ онъ моргнуть даже, какъ по залу пронеслась пощечина, звонкая и жадная, гулко отдалась въ воздухѣ и сразу остановила все: танцующихъ и музыку, разговаривающихъ и игравшихъ.

Со слезами на глазахъ всталъ Гавриковъ, что-то схватилъ въ первую минуту, что-то хотѣлъ сказать, но изъ горла ничего не выходило, кромѣ икающей надтреснутой дрожи; его схватили за руки, стали успокаи-

вать, увели Крутова, а потомъ, отпоивъ водой, отправили домой и Гаврикова.

— Позоръ, позоръ,—говорилъ онъ, сидя на извозчикѣ.—Ахъ, какой позоръ... Вѣчный, несмываемый!.. И рыдалъ.

А везшій его акцизникъ Деревященко, охвативъ его талью, сладенькимъ и мягкимъ голосомъ по-бабьи утѣшалъ:

— А, да брось ты, Гаврикъ... Ну, что тутъ необыкновеннаго? Били начальника станціи. Дрались нашъ Еремѣевъ съ Турбинымъ. Получилъ пощечину въ отвѣтъ на свою отъ буфетчика Зенчевскій... Ну, что такого въ этомъ? Вѣдь, не офицеръ же ты! Въ полку, милочка, тамъ дѣло десятое. Тамъ мундиръ, милочка. Ну, а какой, по совѣсти сказать, мундиръ у меня, или у тебя? Такъ, вродѣ ярлыка. Чтобъ жидовки знали, что я имѣю право отобрать у нихъ безбандерольный табакъ, а посѣтители казначейства видѣли бы, что ты не самозванецъ... Успокойся, милочка, и,—знаешь,—пріѣдемъ къ тебѣ и выпьемъ...

Но Гаврикову было скверно.

Что-то тяжелое и склизкое упало на его душу и будто кто-то злой и ехидный пропускалъ и вытаскивалъ чрезъ его сердце какой-то толстый сверлящій стержень: когда стержень опускался, хотѣлось хныкать и выть, когда поднимался, хотѣлось сгибаться и хвататься руками за лѣвую сторону, гдѣ сердце. Голова горѣла, ныла глухой болью лѣвая щека, а Деревященко все пробовалъ успокоить:

— Вотъ пріѣдемъ къ тебѣ и выпьемъ...

II.

На другой день Гавриковъ лежалъ на кровати, молчалъ и думалъ о томъ, что было бы хорошо застрѣлиться, или пойти и дать отвѣтную пощечину пьяному купцу, чтобъ онъ почувствовалъ весь ужасъ этого прикосновенья чужой руки къ самому лучшему и чистому, что есть на свѣтѣ, къ тому открытому и дорогому, что зовется лицомъ человѣческимъ.

— „Ну, и что же изъ этого?"—шепталъ ему чей-то невидимый голосъ.

— „Что жъ изъ этого? Ну, пойдешь. Ну, дашь. Ну, увидишь опять эти красные круглые глаза, въ которыхъ будетъ горѣть слѣпое бѣшенство? Ну, а дальше?.."

— А дальше удовлетвореніе,—пробовалъ оправдаться Гавриковъ предъ тѣмъ невидимымъ, который такъ настойчиво и убѣжденно шепталъ ему слова разочарованія, отрѣзывая послѣднюю дорогу къ утѣшенію.

— „Удовлетвореніе?—удивился Незримый,—хорошо удовлетвореніе создать въ мірѣ новую пощечину! И что же, твоя собственная пощечина вытравится отъ этого? Угаснетъ боль, смирится обливающаяся слезами и кровью гордыня достоинства твоего?.."

Въ комнатѣ было темно. За окнами, занавѣшенными темнымъ кашемиромъ, шелестѣлъ вѣтеръ. Теперь онъ какъ-то вдругъ разлетѣлся и ударился объ уголъ дома и отъ этого, слегка звеня, задрожали стекла и Гавриковъ повернулся на другой бокъ.

— Но что же дѣлать! Что же дѣлать?—стоналъ онъ.—Надо же...

Но онъ не зналъ и не могъ рѣшить, что именно

надо, а что-то было необходимо нужно вырѣшить, куда-то пойти, что-то написать, или сказать, вообще сдѣлать. Мысль его, вялая, выбитая изъ привычной колеи, метнулась и остановилась.

— Ахъ, какъ тяжело... прошепталъ оскорбленный человѣкъ,—ахъ!

И тутъ онъ почувствовалъ, что прибито не только его лицо, а и сама мысль его, такая нѣжная, такая трепетная и гордая, какъ царица.

Такъ лежалъ онъ весь день.

Къ вечеру къ нему пришелъ опять Деревященко и привелъ съ собой Тонина. Вошли они,—показалось Гаврикову,—какъ-то особенно развязано, будто попали сюда между прочимъ, и вчера ничего не случилось.

И Деревященко, какъ вошелъ, такъ сразу и началъ:

— Ай, ай, ай! Какъ не стыдно!.. До сихъ поръ лежитъ, ничего не дѣлаетъ, малодушествуетъ. Слабъ человѣкъ, охъ, какой же нонче слабый человѣкъ!..

И ни къ селу, ни къ городу Деревященко вдругъ разсказалъ о томъ, какъ пять лѣтъ тому назадъ его вывалилъ почтовый ямщикъ въ сугробъ и тогда онъ, вотъ такъ же, какъ Гавриковъ, долженъ былъ пролежать весь слѣдующій день въ кровати.

— И сугроба никакого ожидать нельзя было,—заключилъ Деревященко.—Никогда ихъ здѣсь и не было вокругъ. А тутъ вотъ какой.

И онъ показалъ на шкафъ, опредѣляя размѣры сугроба.

— И, вѣдь, какъ его не замѣтилъ этотъ шарлатанъ Степка... Такой большой сугробъ и на видномъ мѣстѣ... А не замѣтилъ... Ну, и влетѣли... Н-да...

Гости посидѣли, почему-то сочли нужнымъ спросить о здоровьѣ, выкурили по одной папиросѣ, по-

томъ по другой, предлагали курить Гаврикову, но тотъ отказался, и они ушли.

III.

Отъ голода,—онъ ничего не ѣлъ со вчерашняго,—отъ растерявшихся мыслей, все еще неприходящаго рѣшенья, что дѣлать и какъ поступить, отъ этихъ ненужныхъ разговоровъ, табачнаго дыму и внутренняго стыда, который мѣшалъ даже позвать горничную и взглянуть ей въ глаза, у Гаврикова нестерпимо заболѣла голова, ныло подъ ложечкой и была такая ноющая слабость во всемъ тѣлѣ, въ рукахъ и ногахъ, что опять хотѣлось плакать, или грызть себѣ пальцы.

Въ сосѣдней комнатѣ пробило неторопливымъ размѣромъ, какъ-то необычно внушительно и съ разстановкой, одиннадцать. Лампа, небольшая, въ зеленомъ колпакѣ, при этихъ темныхъ синихъ шторахъ на двухъ узенькихъ окнахъ, дѣлала комнату еще печальнѣй и меньше. Ея лѣнивый безсильный свѣтъ бросалъ въ трехгранные углы между стѣнами и потолкомъ черныя неподвижныя тѣни и протянулъ по полу, какъ блѣдныя зеленыя руки, полосу мигавшаго свѣта.

Гдѣ-то невдалекѣ сначала залаяла собака. Потомъ она жалобно, будто плача, завыла; застучалъ въ упругую, пустую и гулкую трещетку сторожъ и все стихло.

Гавриковъ всталъ, медленно, какъ нездоровый, ступилъ къ столу и дунулъ на лампу.

Желтое съ голубымъ пламя присѣло, поднялось, вытянулось, два раза метнулось въ сторону и куда-то спряталось навѣки, будто его разомъ проглотилъ кто-то хитрый и ловкій.

Сонъ не шелъ. Гавриковъ всталъ, раздвинулъ темную занавѣску, отвелъ рукой гардинный тюль и прислонился горящимъ лбомъ къ неровному въ пузырькахъ стеклу.

Мимо дома прошла компанія, человѣкъ пять, съ пѣсней.

„Дрожащей стопой оставляя",—

запѣлъ покойный баритонъ, и сквозь его гордыя ноты, будто пробиваясь черезъ нихъ и протягивая руки, выплыла неувѣренная и дрожавшая скорбь о чемъ-то потерянномъ, о чемъ знаютъ, что больно и что не могутъ и не смѣютъ разсказать.

„Минутный слѣдъ на ложѣ мягкихъ мховъ", —

подхватилъ и поднялся теноровый, мягкій и сильный молодой голосъ, застоналъ на счастливыхъ нотныхъ верхахъ, на мигъ прервался, будто досказать обо всемъ не хватало силъ, упалъ—и вмѣстѣ съ басомъ, серьезнымъ и низкимъ, всѣ трое докончили:

„Онъ быстро шелъ по берегу потока"...

„По берегу потока"—донеслось уже изъ за угла, заколебалось, словно нѣжась въ истомѣ ночи, растянулось, смягчилось и замерло...

И Гавриковъ, страннымъ образомъ, въ первый разъ со вчерашняго дня, задалъ себѣ въ опредѣленныхъ и потому жесткихъ словахъ вопросъ о той, которую онъ любилъ.

А здѣсь какъ же? Что же съ ней? И какъ она подумала обо всемъ? Быть можетъ, у нея еще большій стыдъ, тотъ терпкій, горькій, колючій стыдъ, который бываетъ за другихъ, и который сильнѣе, чѣмъ и стыдъ и страхъ за самого себя.

И, содрогнувшись всѣмъ тѣломъ отъ этой мысли Гавриковъ прогналъ ее прочь, отошелъ отъ окна, и какъ раненый, слабый и жалкій, легъ опять и ему стало непостижимо, необъяснимо жутко.

Онъ лежалъ съ открытыми глазами, смотрѣлъ на стынущую ночь, мигавшую ему своимъ сѣрымъ потускнѣвшимъ глазомъ, ежился отъ страха предъ ней и предъ ея нѣмымъ языкомъ суровыхъ, печальныхъ тѣней и ползующихъ звуковъ, которые весь день,—трусливые,—боялись сказаться, и только въ эти притихшіе часы, зашуршались, заскреблись и ползутъ... Ползутъ, крадучись; и чувствуется, какъ ихъ нервный шагъ становиться все хитрѣй, все жутче и таинственнѣй, и увѣреннѣй мучитъ безъ сна и забытья тоскующихъ людей, терзающихся и плачущихъ въ холодныхъ объятьяхъ черной тьмы и нависшаго ужаса.

Гасли голоса и терялись огни въ дали города, такіе маленькіе, такіе желтые, такіе жалкіе.

И какъ большое голодное животное, поднимала свою безглазую голову ночь, похожая на слѣпую волчицу,—такая она была подлая, злая и жадная. И все тяжелѣла голова человѣка, лежащаго безъ сна и забытья.

Словно тысяча тысячъ маленькихъ юркихъ дьяволовъ огненнымъ кольцомъ вдругъ охватывала слабый черепъ его и начинала жать въ желѣзныхъ и острыхъ тискахъ своихъ костлявыхъ и цѣпкихъ рукъ.

Они жали, и казалось, все меньше становится этотъ жалкій и непрочный сосудъ нетлѣнной мысли и сама мысль, испуганная, опрометью шарахается въ самую глубину мозга и долго-долго потомъ нѣтъ силъ и путей вызвать ее назадъ: быстрыя змѣи такъ убѣгаютъ извиваясь и скользя въ свои норы.

И когда снова покидала свое убѣжище и выползала

опять, уже не той, что была,—становилась мысль, а другой,—новой, странной и больной, измученной, чужой и тяжелой, какъ беременная огромнымъ горемъ.

Не мыслью человѣка была она, а оборотнемъ, и отъ нея опять только дѣлалось страшно.

Ползкомъ, мимо,—ровно и ничѣмъ не задѣвая,—пробирались, какъ воры, угрюмые часы все затихавшей и все блѣднѣвшей ночи и вмѣстѣ съ ними все слабѣла и падала какая-то тугая пружина, которой не зналъ и не замѣчалъ до той поры человѣкъ.

Распластаннымъ и разбитымъ лежалъ онъ теперь, будто разложенный на хирургическомъ, узкомъ и загадочномъ столѣ для какой-то хитрой, опасной, но неизбѣжной операціи.

...Все шли часы и все не смыкалъ глазъ человѣкъ.

И только тогда, когда, раздвинувъ темно-прозрачную сѣтку гардинныхъ занавѣсей, снопъ бѣлыхъ, робкихъ и грустныхъ лучей вошелъ въ комнату Гаврикова, и вдавливая камень въ землю, пробѣжали упрямыя колеса по мостовой, онъ понялъ, что начался новый день.

IV.

Уже прошелъ годъ, какъ Гавриковъ бросилъ службу, уѣхалъ, и протекъ весь этотъ годъ въ напрасныхъ поискахъ работы, въ скитаньяхъ по нумерамъ, въ безпорядочномъ неувѣренномъ заработкѣ, случайныхъ встрѣчахъ и длинной, какъ одна большая сѣрая лента, тоскѣ.

Онъ не посмѣлъ даже проститься съ любимой дѣвушкой.

Теперь Гавриковъ жилъ въ большомъ городѣ. Два

раза по полтора мѣсяца собиралъ свѣдѣнія для какого-то всероссійскаго календаря и поселился въ меблированныхъ комнатахъ.

Послѣ тихой жизни молчащаго города, опростившаго отношенья, безшумнаго и дремотнаго,—нервный бѣгъ большого центра давилъ и мучилъ, подстегивая и обезсиливая. Въ спящую душу Гаврикова вошли безпокойство и неувѣренность.

Нужно было ходить и просить, чувствовать себя поглощеннымъ толпой и многолюдствомъ, точно погибшимъ на людяхъ и незамѣтнымъ, такъ что, если-бъ пришлось умереть, тяжело заболѣть, или изголодаться, объ этомъ никто не узналъ-бы, никто не вздохнулъ и даже не выслушалъ бы до конца ни вздоховъ, ни жалобъ, ни слезъ.

И отъ всего этого было жутко, какъ въ мертвомъ лѣсу, или на кладбищѣ. Хотѣлось уйти отсюда, спрятаться въ нору, или прижаться за угломъ. Но ни того, ни другого, ни третьяго сдѣлать было нельзя. Для выѣзда не было денегъ, изъ норъ здѣсь людей вытаскивали и вели въ участокъ, а углы были такіе же многолюдные и шумные, какъ весь воздухъ этой большой гудящей бездны, какъ всѣ ея дома и всѣ улицы.

И Гаврикову день-ото-дня становилось все тяжелѣй.

Не разъ уже приходилось ему голодать и часто, возвращаясь въ номеръ, онъ не зналъ—впустятъ ли его, или попросятъ немедленно о выѣздѣ.

И послѣ долгихъ поисковъ онъ, наконецъ, досталъ себѣ мѣсто учителя въ домѣ одного богатаго чиновника въ деревнѣ.

Семья была тусклая, самъ чиновникъ грубый, а его жена, вспыльчивая и нервная, молодящаяся женщина, третировала Гаврикова такъ, какъ онъ никогда не по-

зволялъ себѣ оскорблять даже клубнаго швейцара въ уѣздномъ городѣ, не говоря уже о столичныхъ, которыхъ онъ просто и откровенно боялся.

Тѣмъ не менѣе надо было мириться, молчать и терпѣть,—урокъ былъ выгодный (Гавриковъ получалъ 85 рублей на всемъ готовомъ) и терять его, чтобъ снова голодать, жить на квартирахъ, за которыя нечѣмъ платить, и напрасно надѣяться, было неразсчетливо и неумно

На этомъ урокѣ ему удалось скопить 192 рубля и одѣться,—и тогда захотѣлось уѣхать куда-нибудь въ провинцію, чтобъ отдышаться отъ этой погони за хлѣбомъ и за правомъ на слѣдующій день.

Уже къ осени приближались дни и въ похолодѣвшемъ дыханіи умѣренныхъ послѣ лѣтняго жара ночей чувствовалась жуткая бодрость и смѣшанный запахъ зимы, болота и гнили.

Гавриковъ ѣхалъ безъ опредѣленной цѣли. Онъ взялъ билетъ до перваго большого города, сѣлъ въ вагонъ и тогда только вздохнулъ облегченнымъ вздохомъ давно уставшаго человѣка. Мимо него проносились лѣса въ медленномъ движеніи вбокъ, словно поѣздъ стоялъ на мѣстѣ, а лѣса—на какой-то темнозеленой доскѣ, и доску это все время плавно тянулъ къ себѣ кто-то смѣлый, и очень быстрый. Поля были пестрыя, изъ темной бронзы, желтаго золота и нѣжной, смѣющейся зелени, и производили впечатлѣніе огромнаго ковра, сшитаго изъ трехъ лоскутовъ.

Будто растаявшія и вздрагивающія отъ холода, рѣчныя струи неторопливо проплывали подъ рѣшетчатыми мостами, широко разставившими свои толстыя ноги и гремѣлъ поѣздъ, скорымъ речитативомъ, подсчитывая себѣ свой ровный тактъ, будто разсказывая о долгой,

тѣ пѣливой и трудной работѣ своихъ стальныхъ неустающихъ мышцъ.

И отъ этого гремящаго речитатива, унылаго однообразія осенняго дня, встающихъ и прощающихся полей и рѣкъ на душѣ Гаврикова становилось грустно. Промчался мимо поѣздъ, что-то проревѣло, полетѣли красныя крутящіяся искры.

И поѣздъ, перемѣнивъ ногу, замедлилъ ходъ, будто давая себѣ отдышку. И сейчасъ же остановился. Гавриковъ вышелъ и выпилъ у буфета три рюмки водки.

Потомъ онъ вернулся, были звонки, кого-то провожали, кто-то входилъ и выходилъ изъ вагона, а когда поѣздъ тронулся опять, какая-то дама что-то крикнула съ площадки остающимся. Гавриковъ обернулся и только тутъ замѣтилъ, что противъ его сидѣнья лежатъ чьи-то вещи.

Когда проѣхали верстъ двадцать, вошелъ человѣкъ въ мягкой широкой шляпѣ и сѣлъ напротивъ, и въ немъ Гавриковъ узналъ Тонина.

V.

Насъ встрѣчи молодятъ.

Вмѣстѣ съ встрѣчей человѣка, котораго мы давно не видали, къ намъ приходитъ наше прошлое, уплывшее и потонувшее въ безднѣ времени.

И теперь Гавриковъ сразу помолодѣлъ и на мигъ съ него спала тоска и усталость жизни.

Отъ неожиданности, отъ спокойнаго, немного нервнаго лица Тонина и трехъ выпитыхъ рюмокъ у Гаврикова поднялось и затрепетало новое чувство молодости и удали, и вдругъ онъ ощутилъ въ себѣ силу,

желаніе жить и потребность говорить о чемъ-нибудь веселомъ, радостномъ и вольномъ, чего не было у него до сихъ поръ, чего такъ искалъ онъ, и отсутствіемъ—терзался.

Совершенно незамѣтно для себя онъ заговорилъ о томъ, какъ прекрасна, широка и разнообразна жизнь большого города, какъ она спасаетъ отъ спячки, и о томъ безмолвіи смерти, которое окутываетъ и убиваетъ уѣзднаго человѣка.

Все оживляясь, скача по темамъ, его разсказъ, при горячемъ вѣтрѣ воображенія, на минуту освобожденнаго отъ цѣпей рабства и страха, бѣжалъ, какъ огонь, по сухимъ воспоминаніямъ нерадостнаго года, и сжигая ихъ, создавалъ красивыя и стройныя картины независимаго и свободнаго существованья.

А Тонинъ слушалъ и все поддакивалъ, кивая головой.

— Очень радъ за васъ, что вы такъ хорошо устроились... Очень радъ,—говорилъ судья, и его сѣрые умные и спокойные глаза внимательно смотрѣли въ разгорѣвшееся лицо Гаврикова, быстро,—словно боясь потерять нить мыслей,—разсказывавшаго о новомъ театрѣ, о маленькихъ кутежахъ и столичныхъ сплетняхъ.

Такъ ѣхали они и все говорили. Гаврикову Тонинъ разсказалъ, между прочимъ, о томъ, что Крутова три мѣсяца тому назадъ хватилъ параличъ и онъ скоро умеръ.

Когда онъ произносилъ это имя—„Крутовъ",—его голосъ становился какъ-то особенно твердъ, а глаза смотрѣли не на Гаврикова, а въ окно вагона, и было ясно, что и до сихъ поръ Тонинъ считалъ эту тему щекотливой и неловкой.

— И всегда такъ будетъ,—подумалъ Гавриковъ.—

Для меня эта тема никогда не перестанетъ быть неловкой и неудобной.

Точно угадавъ эти мысли, Тонинъ неторопливо, перевелъ разговоръ на другую тему и, закуривъ сигару, небрежно и преувеличенно развязно спросилъ Гаврикова:

— Ну, а какъ на счетъ сердечныхъ волненій?

И сдѣлалъ этимъ еще хуже.

Что-то тяжелое, какъ долго спавшій больной, отъ толчка пробудившійся, колыхнулось внутри у Гаврикова, и онъ вдругъ ясно увидалъ, что ни старанья, ни работа, ни тоска меблированныхъ комнатъ, ни даже голодъ не въ силахъ были побѣдить то важное и первое, что осталось у него назади и называлось его любовью.

И сознавая, что голосъ его неувѣренъ, а все лицо приняло странно виноватый видъ, онъ съ запинкой, напрасно стараясь говорить тверже, спросилъ:

— Ну, а какъ же поживаетъ...

Но не назвалъ имени и не успѣлъ произнести, потому что Тонинъ, будто предвидя, тотчасъ же какой-то небрежной скороговоркой отвѣтилъ:

— Замужемъ.

Не вѣря ушамъ своимъ, еще разъ желая убѣдиться, что они говорятъ объ одной и той-же, теперь Гавриковъ назвалъ ея имя, и, сохраняя въ голосѣ одно только равнодушное удивленіе, переспросилъ:

— Юлія Сергѣевна?

Не на вопросъ, отвѣтъ на который былъ и такъ ясенъ, Тонинъ отозвался только двумя словами:

— За Румича:

И эти два слова сказали Гаврикову больше, чѣмъ цѣлый годъ надеждъ и страха.

Офицеръ Румичъ былъ красивъ, считался завиднымъ женихомъ и слылъ за богатаго. И у Гаврикова вырвалось только восклицаніе:

— Ага!..,—сказанное однѣми только губами.

Не зная, что дѣлать, чтобы скрыть свое волненіе и растерянность, онъ сталъ рыться въ карманахъ, ища портсигаръ, потомъ закурилъ и замолчалъ.

На слѣдующей станціи Тонину надо было вылѣзать. По какому-то дѣлу онъ ѣхалъ въ уѣздный городъ и Гавриковъ, узнавъ, что ни сегодня, ни завтра никакихъ особенныхъ занятій и хлопотъ Тонину не предстоитъ, рѣшилъ поставить на билетъ остановку и провести это время съ нимъ.

Когда они осматривали городъ, такой же маленькій, какъ и тотъ, гдѣ служилъ прежде Гавриковъ, одна улица съ садами напомнила имъ Дворянскую, гдѣ жилъ всегда Тонинъ и онъ сказалъ;

— Какое сходство! „Все это было когда-то, только не помню когда“... Усмѣхнулся. Обоимъ стало грустно отъ воспоминаній, этихъ дѣтей прошлаго, которыя растутъ во времени и вмѣстѣ съ этимъ ростомъ расцвѣтаютъ, ширятся множась и умираютъ.

Неизвѣстно почему, оба вздохнули.

Такъ прошли они нѣсколько шаговъ, и Гавриковъ, который ощутилъ у сердца сосущее чувство воскресшей боли, предложилъ Тонину зайти въ ресторанъ.

Но ресторана въ городѣ не было, и они, смѣясь, рѣшили устроить пикникъ.

VI.

Далеко за городомъ, почти на самой опушкѣ темнаго вьющагося лѣска, они сѣли, разложивъ закуски

и бутылки, и Тонинъ началъ, чтобы снова завязать разговоръ:

— Такъ устроились, значитъ, хорошо. Ну, и слава Богу...

Но Гаврикову уже не хотѣлось лгать. Порывъ непонятнаго одушевленья и молодой силы растаялъ. У самыхъ ногъ ихъ текъ ручей, и отъ его музыки вѣяло какой-то скромностью и безпечальностью, а кругомъ, во всемъ лѣсу, была тишина, покой радости и счастье чьей-то высшей правды. Солнце остановилось тамъ, внизу, надъ горизонтомъ, застывшимъ въ вечернемъ безшумьѣ, и было яркое, свѣтящее и нѣжащее глаза. Смотрѣть на него хотѣлось и было трудно. Отъ его краснаго, мягкаго и остраго свѣта два ствола напротивъ загорѣлись своими внутренними сторонами и опавшая прошлогодняя кора, усыпавшая чуть-чуть сырую землю, стала коричнево-алой.

Чтобъ не сознаться въ своей прежней лжи сразу, Гавриковъ отвѣтилъ общей фразой.

Онъ сказалъ:

— Конечно, въ большихъ городахъ лучше. Начать съ того, что нѣтъ сплетенъ. А это—уже свобода.

Потомъ вспомнилъ о томъ одиночествѣ, цѣной котораго откупается человѣкъ отъ этихъ толковъ и сплетни, едва слышной тоской у него сжалось сердце, но онъ налилъ себѣ рюмку и сказалъ:

— Тебя никто не знаетъ,—и ты никого не хочешь знать... Что можетъ быть лучше?

Тонинъ налилъ себѣ и сталъ въ подробностяхъ разсказывать о разныхъ курьезахъ заброшенной уѣздной жизни, объ ея анекдотахъ, и все выходило, по его словамъ, такимъ легкимъ, такимъ простымъ и смѣшнымъ, что Гавриковъ слушалъ ихъ, какъ совершенно

новыя и для него необычныя. И въ душу его входило чувство тревожной зависти къ этимъ людямъ, сумѣвшимъ изъ своего существованія изгнать все тяжелое и оставить только смѣхъ, вино и здоровый сонъ.

Гложущая тоска завыла въ немъ, вино ударило въ голову, онъ сталъ слушать машинально, равнодушно кивалъ головой и молчалъ.

Въ небѣ темнѣло.

Изъ блѣднаго и однотоннаго оно становилось все синѣй, ярче и черезъ часъ походило на море, темное и голубое, по которому раскинулись черные дымные острова.

Они вытягивались, расходились и таяли. Свѣтлѣла небесная даль, и сквозь только что разорвавшійся утесъ, острый и высокій отъ смягчающихся кверху тѣней, всплылъ луный горящій кругъ. Гряды облаковъ тотчасъ закрыли его, какъ прозрачной вуалью, но тихо вышла луна изъ подъ голубой фаты, какъ молодая невѣста.

Все опускаясь, она повисла въ частой гущи лѣсныхъ верховъ и теперь казалась большимъ огненнымъ гнѣздомъ, свитымъ какой-то страшной и хищной птицей. И отъ этого огненнаго глаза, смотрящаго изъ темной чащи, вдругъ стало жутко, и даже тихій ручей теперь что-то быстро и недовольно говорилъ о своемъ испугѣ.

Становилось холодно, но идти въ комнату убогой гостинницы все еще не хотѣлось.

И Гавриковъ съ Тонинымъ застегнулись на всѣ пуговицы и стали разводить костеръ. Плохо горѣли отсырѣвшія спички и мерзлые сучья долго противились огню. Но, жадный, онъ нашелъ какую-то отсохшую вѣтку, завладѣлъ ею и поползъ, и все ширясь, то вспы-

хивая, то уходя куда-то вглубь накиданной сѣрой кучки, зашипѣлъ по отсырѣвшимъ прутьямъ.

Сразу потеплѣло. И тѣ двое, что сидѣли около этихъ горящихъ вѣтокъ, почувствовали какую-то неясную, но сладкую взаимную близость.

И въ ихъ душахъ вдругъ засвѣтились и зажглись тоже костры, теплые, мягкіе, лѣтніе, и хотѣлось говорить о себѣ то, чего въ другое время никогда не разскажетъ о себѣ человѣкъ.

Тонинъ подумалъ, что всѣ люди давно заперли, по какому-то безмолвному договору, свои души на ключъ ложной гордости, но что у каждаго, какъ у фокусныхъ американскихъ замковъ, есть такой простой секретъ, которымъ могла бы отвориться всякая искренность и всякая скрытая правда. И онъ собрался сказать объ этой мысли Гаврикову. Слегка, съ полуулыбкой, будто извиняясь въ какой-то слабости, онъ повернулся къ нему и уже готовъ былъ начать, какъ услышалъ всхлипыванья.

— Что такое?—подумалъ Тонинъ, не отводя еще глазъ отъ одного мѣста пылавшаго костра, гдѣ огонь вдругъ построилъ хитрый золотой мостъ.

— Что такое?

— Батюшки мои!—воскликнулъ онъ, вдругъ пораженный.—Господи, твоя воля! Да, что же это такое... Да, вѣдь, вы плачете! Вы плачете, милый! Что, что такое?

А Гавриковъ плакалъ.

По дѣтски подергивались его плечи, наивно закрыты были глаза ладонями рукъ и, весь сгорбившійся, сидѣлъ Гавриковъ на сыроватой землѣ, и въ притихшемъ воздухѣ, подъ ровный трескъ костра, вырывались изъ его груди рыданья, безпомощныя, заунывныя и вздрагивающія.

— Да о чемъ же онъ?—обращаясь къ костру, задумчиво и растерянно прошепталъ Тонинъ...

Огненная ленточка, зеленоватая съ желтымъ ободкомъ, какъ-то сразу выскочила наверхъ, заметалась, сдѣлалась красной, перекинулась въ сторону и вдругъ весь костеръ, взбунтовавшись и ринувшись впередъ, заревѣлъ, вспыхнулъ сверху до самаго низу и, будто распластанное и подожженное человѣческое тѣло, изъ костей и теплой алой крови, заколебался, затрясся и рухнулъ, будто присѣлъ къ землѣ.

Но уже рѣже всхлипывали рыданья и сквозь нихъ было слышно, какъ звенящій и надтреснутый отъ слезъ голосъ жаловался, запинаясь и растягивая:

— Все ложь... Лгунъ я, милый. Никакой радости. Одна тьма, одинъ ужасъ и страхъ. Ничего больше нѣтъ и никогда не будетъ... Нищій я. Никого и ничего я не люблю и ни зачѣмъ я не нуженъ жизни...

— Ахъ, Господи, да успокойтесь же вы...—гладилъ его Тонинъ по плечу...

— Нищій я. И боюсь я всего. Боялся Крутова. Боялся той, которую любилъ. Боялся жизни, ютился въ уѣздахъ, мирился съ пакостью и мерзостью ихъ. Теперь мирюсь съ нищетой... И буду мириться. Все вытерплю. И новыя пощечины перенесу... все... все... Не вѣрьте... Ни въ какихъ театрахъ я не бывалъ, никого не знаю, ни съ кѣмъ не вижусь, потому что всѣхъ боюсь. Даже голосовъ боюсь. И, какъ всѣ трусы, лгу...

— Полноте же, полноте... Всѣ лгутъ,—утѣшалъ его Тонинъ.

— Лгутъ гордо, съ достоинствомъ. А я лгу рабски, когда не надо... Зачѣмъ я вамъ сегодня лгалъ? А, вѣдь, лгалъ все...

— Ахъ, ахъ... ахъ ты,—говорилъ возбужденнымъ шопотомъ Тонинъ.— Ахъ... но, вѣдь, и я же лгалъ вамъ... Вѣдь, вовсе у насъ не весело... хмурость и тоска... и злоба задавленная... Ну, простите меня... Простите жъ, милый!

Теперь уже въ голосѣ Тонина слышались слезы.

— Просто, вижу,—вы сочиняете... „Хорошо это". „Хорошо то"... Я взялъ, да и сталъ вамъ лгать, какъ у насъ хорошо... А ничего нѣтъ хорошаго. Скучища... Застрѣлился Игнатьевъ, убѣжала жена Сонина, подалъ въ отставку Кобринъ. Я самъ подаю въ отставку...

Онъ громко всхлипнулъ и неожиданно прибавилъ:

— Нѣтъ, лгу. Не подамъ... Лгу я... Страшно... Трусливо... Лгу...

И ему отвѣчалъ сдавленный шопотъ, шедшій, казалось, не отъ рядомъ сидящаго съ нимъ человѣка, а откуда-то издалека:

— Все ложь... Вездѣ одна ложь...

Костеръ догорѣлъ и только его отдѣльные прутья похрустывали, будто пальцами, и темнѣлъ весь черный, потемнѣвшій, омраченный лѣсъ.

То и дѣло по лунѣ пробѣгали тонкія и легкія кружевныя облака, и тогда она вздрагивала и жмурилась.

А внизу на холодной землѣ, въ предъ-утреннемъ туманѣ, сидѣли два человѣка, случайно заброшенные сюда и грустящіе, и тихо вздыхали, облегченные на мигъ отъ тяжелаго мрака вѣчной и трусливой лжи.

...И обоимъ было чего-то стыдно и хотѣлось забыться.

Мартъ.
1903 г.

Погибающіе.

I.

— Не спорьте. Не возражайте. На курорты мы убѣгаемъ отъ самихъ себя. Оно такъ понятно. Мы всѣ окисляемся за годъ, наши нервы издергиваются, наша печень злится и застываетъ душа. Намъ нужно что-то, нѣчто непохожее на сегодня. Наши сумерки—хмуры, наша осень сѣра и зла зимняя стужа. Наши кабинеты и канцеляріи, конторы и департаменты слишкомъ угрюмы, работа однообразна, мы боимся плѣсени.

— Вы понимаете, — говорилъ радостный, молодой и здоровый голосъ.—Вы понимаете,--намъ нужно встряхнуться. „Воздуха, простора, пламенныхъ рѣчей". Отсюда курортъ. Отсюда его спасительность и значеніе.

И какое огромное преимущество у курортовъ: нѣтъ дачныхъ гостей, нѣтъ сплетенъ, не нужно всей этой обстановки, этого набившаго оскомину и мозоли „train".

Курортъ—это бутылка шампанскаго послѣ ужина. Маленькая шалость въ концѣ года. Pétite betise. Мы ее раскупориваемъ съ любопытствомъ и выпиваемъ съ жадностью... У насъ и похмѣлье бываетъ,—когда мы

снова возвращаемся въ наши „меблированныя“ квартиры и комнаты и беремъ перо, чтобы писать наше первое „отношеніе“...

— И я увѣренъ,—продолжалъ мой другъ,—что число курортныхъ гостей—это прогрессія, возрастающая, какъ количество потребляемаго шампанскаго...

Онъ вздохнулъ и прибавилъ:

— Что дѣлать. Нервный вѣкъ. Огромный расходъ силъ. Притупляющая смѣна впечатлѣній... Въ то же время бѣдность этихъ впечатлѣній. Что мудреннаго, что современный человѣкъ—слегка ворчунъ и курсовикъ. Это такъ просто,—это психологія курортовъ... Toujours un peu d'ivresse au lait de sa mamelle“... Кто это сказалъ? Мюссе? А, можетъ быть, и совсѣмъ не Мюссе. Все равно,—это легкое опьяненіе. И, пожалуйста, не говори мнѣ объ этихъ „бальнеологическихъ“ и иныхъ прочихъ качествахъ, данныхъ и какъ ихъ еще называютъ. Просто бери деньги и поѣзжай...

— Позволь,—думалъ я,—а больные?..

И мнѣ страстно, страстно захотѣлось попасть именно въ царство больныхъ. Не къ опьяняющимъ, не къ убѣгающимъ отъ скуки и самихъ себя, а къ „недугующимъ и страждущимъ“, плѣненнымъ болѣзнями, горемъ, несчастьемъ.

Я отправился, конечно, въ Пятигорскъ и нашелъ то, что искалъ. Нашелъ бѣдныхъ, больныхъ, безногихъ, безрукихъ, ворчливыхъ, озлобленныхъ и терпѣливыхъ, страждущихъ, молящихся, терзающихся людей.

Это совсѣмъ особое государство, гдѣ правитель и царь одинъ—надежда. Она вездѣ здѣсь.

Гдѣ горе, тамъ надежда. Чѣмъ злостнѣе недугъ, горячѣй надежда. Безнадежные—самые надѣющіеся. Чуть теплится жизнь въ изможденномъ тѣлѣ, едва говоритъ

человѣкъ, а грудь и душа горятъ такой героической, всеисцѣляющей и всепримиряющей вѣрой, что завидно. Тамъ, гдѣ нельзя вѣрить ни во что, вѣрятъ въ чудо.

Едва шевелится языкъ въ сухомъ рту, а слова его одни и тѣ же:

— Вотъ поправлюсь и тогда...

— Какъ только выздоровѣю, сейчасъ же...

— Лишь бы начать. Я бы...

— Верну руку и начну...

Лишь бы переступить эту границу. Лишь бы исправить этотъ или тотъ недочетъ... совсѣмъ маленькій, ничѣмъ неважный, даже легко исправимый... А тамъ,— тамъ будетъ все, какъ нельзя лучше.

Еще Тургеневъ въ одномъ мѣстѣ замѣтилъ, что о чемъ бы ни молился человѣкъ,—онъ всегда молится о чудѣ. Всякая молитва сводится на слѣдующее:

„Великій Боже, сдѣлай такъ, чтобы дважды два не было четыре“.

II.

Въ этой вѣрѣ есть что-то мистическое, больное и глубокое, грустное и неподвижное. Въ ней самогипнозъ, въ ней—послѣднее прибѣжище, та соломинка, за которую надо ухватиться судорожно-изнемогающими въ послѣднихъ конвульсіяхъ пальцами, чтобы отсрочить еще на мигъ послѣдній крикъ гибели и послѣднее „прощай“.

Какъ больныя, высохшія растенія, потерявшія свой цвѣтъ и запахъ, поблеклыя и осужденныя на смерть, они, эти упрямые люди, съ упрямой и грустной вѣрой всемогущаго животнаго страха, все еще подымаютъ

свои лица къ далеко затонувшему въ синемъ и прозрачномъ, какъ тюль, небѣ солнцу,—бѣлому, яркому, горячему, нѣжному...

И вѣчному, и оттого безстрастному.

Пройдутъ десятилѣтія и вѣка, измѣнится земля, сойдутъ одни и придутъ другіе люди, а оно все также высоко будетъ стоять на наивно голубомъ, по-дѣтски миломъ небѣ, также горѣть и нѣжиться, также убивать и возрождать, какъ сейчасъ, какъ сто и тысячу лѣтъ назадъ...

III.

Если васъ судьба забросила на необитаемый островъ, схоронила въ живой могилѣ ссылки, выбросила далеко за предѣлы вашей родины, и дала свободу на недѣлю, поѣзжайте сюда, на эти кавказскія минеральныя воды.

Здѣсь—отовсюду.

Тутъ вы увидите вашу первую любовь, которая катаетъ въ телѣжкѣ безногаго старика мужа, друзей вашей юности, угасшихъ дней угасшаго веселья. И они уже не тѣ. Съ серьезнымъ, дѣловымъ видомъ, тономъ, отъ котораго чуть-чуть пахнетъ ладономъ, они вамъ долго и пространно будутъ говорить о безполезности креозота и неизлѣчимости сухотки, о шарлатанствѣ докторовъ, ругать управленіе водъ, жаловаться на крайнюю дороговизну жизни, забывъ, какъ по сотнямъ рублей, всего какихъ-нибудь нѣсколько лѣтъ тому назадъ, выбрасывали за шампанское.

Бывшаго жениха вашей сестры увидите...

Онъ серьезенъ и, слегка прихрамывая, сдержанно подаетъ вамъ свою тяжелую, сухую руку.

Вы заговариваете...

Небрежнымъ тономъ,—въ немъ явно слышатся ноты равнодушія, которыми показываютъ вамъ, что не придаютъ рѣшительно никакого значенія своему настоящему положенію, что это—такъ, временно и чистая случайность, небрежнымъ тономъ онъ спрашиваетъ васъ:

— Ну, а что Евгенія Львовна?..

Стараясь быть, какъ можно, небрежнымъ,—будто въ вашемъ отвѣтѣ не заключается ничего, вы бросаете:

— Вышла замужъ... двое дѣтей...

И не замѣчаете сами, что слова растягиваете и чуть-чуть не сказали было:

— Вы-мужъ за-шла..

— За кого,—задаетъ онъ вопросъ, медленно закуривая папиросу.

— За Хворостова...

— Ахъ, за этого...

И вы видите, какъ его губы кривятся и складываются въ презрительную усмѣшку...

— Гмъ!..

И тогда вспоминаете вы всю эту сцену отказа: когда онъ сватался еще, всѣ говорили, что онъ боленъ и брюзга, сестра была молода, ну, и вотъ...

Теперь у сестры двое дѣтей, она такъ же несчастна, какъ была бы и съ нимъ... ни меньше, ни больше.

— Ну-съ, имѣю честь,—слышите вы, протягиваете руку и видите суровый, старающійся быть надменнымъ, оскорбленный взглядъ...

— Пойду пить нарзанъ,—поясняютъ вамъ...

Музыка играетъ вальсъ. Его звуки, нѣжные, простые, волнующіе и такіе живые, что не разсказать, тихо закрадываются въ сердце, что-то щекочутъ и будятъ,

о чемъ-то говорятъ таинственно-сладкимъ полушопотомъ.

Закрадываются они и въ сердце больныхъ, и кое-кто изъ нихъ вспоминаетъ свой, быть можетъ, недавній вальсъ... Горѣли огни. Мѣрно колыхались пары, ея голова лежала на плечѣ... Чьи-то слова и до сихъ поръ звучать въ ушахъ, какъ шорохъ страсти и шопотъ любви.

Прочь воспоминанія!..

— Надо идти пить нарзанъ.

Катятся колясочки. Въ нихъ сидятъ люди, взрослые, похожіе на безпомощныхъ дѣтей. Лица ихъ стараются улыбнуться, они киваютъ другъ другу головой и разъѣзжаются.

У каждаго въ мірѣ своя дорога, и своя жизнь, и собственная своя смерть. Послѣ нея только всѣ равны, и у всѣхъ одна и та же дорога.

IV.

Тѣмъ временемъ солнце блѣднѣетъ. Изъ яркаго оно становится тускловатымъ и прежній цвѣтъ, красной старой бронзы, смѣняется свѣтло-золотымъ. По землѣ ложатся тѣни. Артистка театра въ сопровожденіи какого-то англичанина подъѣзжаетъ къ цвѣтнику на взмыленномъ конѣ. Она пробуетъ соскочить легко, но платье запутывается и обнажаетъ — упругую икру, высокій башмакъ на пуговицахъ, затянутую въ черный шелковый чулокъ ногу. Но быстро высвобождается и оба,—она и англичанинъ,—идутъ на веранду, пьютъ вино и смѣются. Кричатъ „газеты, газеты“... „Сезонный Листокъ“, „Кавказскія минеральныя воды“...

Потомъ темнѣетъ. Аллеи наполняются гуляющими.

Бьютъ фонтаны.

При свѣтѣ луны они кажутся театральными, фантастическими, ихъ струи серебряными, и плескъ ихъ напоминаетъ дикую пѣсню безъ словъ, неясное и нѣжное воспоминаніе о прошедшемъ, что было и утонуло, гдѣ-то утеряно, какъ-то забыто, должно быть по неосторожности. Хочется и любить, и плакать: это смѣшанные голоса настоящаго и былого.

Прошла пара. Офицеръ съ краснымъ околышемъ и барышня.

— Да?

— Да. Всегда.

У него не дѣйствуетъ правая рука, а барышня его невѣста. И ея рука просунута подъ его лѣвую.

Долечивается....

А дѣвушка еще ребенокъ, розовенькій, пухленькій, со звонкимъ голоскомъ и ямочками на щекахъ. Она играетъ по утрамъ въ бильбокэ, тамъ на углу, у низенькаго домика, въ саду.

Въ воздухѣ—совсѣмъ тихо. Деревья становятся черными, свѣжій воздухъ тихо паритъ, какъ молодой царь южной ночи, на крѣпкихъ крыльяхъ. Немного холодно. Вы застегиваетесь на всѣ пуговицы и идете домой.

Проходя мимо госпиталя, вы видите зажженную лампадку, ея красный глазокъ, который мигаетъ часто и ровно—будто плачетъ,—и колѣнопреклоненнаго человѣка. Его фигура, жесты и молитвенно-просто, съ такой надеждой обращенные къ этому коричневому лику глаза выражаютъ одно: мольбу о пощадѣ и жажду чуда. Лицо его серьезно, брови приподняты и отъ морщинъ разглаженъ лобъ.

Давно-ли былъ ты и невѣрующимъ, и атеистомъ и какъ не далеко то время, когда любимой твоей фразой было:

— Молодость бываетъ разъ и отъ нея надо все взять!

Далеко-ли?.. Не все-ли равно... Не все-ли равно, когда приходитъ горе и несчастье, обновляетъ, или измучиваетъ человѣка?

О чемъ молитъ онъ? Объ исцѣленіи? О прощеніи грѣховъ прошлаго? О снятіи схимы терпѣнія?

И что дастся ему? И поправимы и искупимы-ли преступленія жизни, и если да, то всѣ-ли?..

Гдѣ-то соловей поетъ пѣснь любви... Чьи-то вздохи, чей-то кашель...

На душѣ становится грустно и думается о томъ, что на землѣ горя много и много несчастья, и что мы не видимъ ихъ потому, что они разсѣяны и несобраны, а мы все бѣжимъ куда-то и не оглядываемся... Душу сосетъ страхъ, и готовъ молиться самъ объ исцѣленіи отъ этого мрака, этихъ тягостей тьмы и ужаса нашей черной, злой и хищной жизни...

Пѣтухи поютъ и встаетъ больной разсвѣтъ.

V.

На другой день я укладываюсь. Нервы не выдерживаютъ. Я хочу бѣжать изъ этой бездны горя и мученичества.

И когда меня спрашиваютъ на вокзалѣ:

— Билетъ куда?

Я задумываюсь и хочу сказать:

— Въ страну здоровья.

Но мнусь и произношу:

— До Петербурга...

Поѣздъ быстро несетъ меня по длинной пестрѣю-

щей канавѣ луговъ, мимо лѣсовъ и тихихъ, блестящихъ рѣчекъ:

„Мѣрный шумъ колесъ...
„Поле, рядъ березъ,
„Много мутныхъ грезъ...
„Мчимся, мчимся, мчимся...
„Мѣрный шумъ и шумъ..
„Сводъ небесъ угрюмъ...
„Много мутныхъ думъ...
„Дальше, дальше, дальше!..“

Когда я выхожу въ Петербургѣ, на меня накидывается дождь, длинный, медленный, ровный.

Но я спокоенъ. Мнѣ хорошо. Кругомъ меня здоровые люди, я слышу ихъ милые, бодрые голоса, ласково звучитъ ихъ веселый смѣхъ, чѣмъ-то бодрымъ вѣетъ отъ ихъ быстрыхъ шаговъ по крѣпкимъ каменнымъ панелямъ...

И когда я встрѣчаю моего друга, я жму ему руку, смотрю ему прямо въ глаза и говорю:

— Ты лгалъ, милый... Курортъ — совсѣмъ не бутылка шампанскаго... Это сильный пріемъ противнаго креозота... И вовсе не маленькая шалость. Это что-то огромное, какъ несчастье, и серьезное, какъ смерть и ея страхъ... На курортахъ я узналъ ту истину, — что явно и тайно больныхъ, какъ откровенно и скрыто несчастныхъ, такъ много, такъ много, какъ людей...

— Но мы съ тобой все таки пойдемъ и выпьемъ, — говоритъ онъ.

И мы идемъ.

Августъ.
1903 г.

Власть смерти.

I.

Что жить печально и тяжело, самолюбивый и безпокойный, онъ понялъ давно, еще въ старшихъ классахъ гимназіи, когда стало нужно ходить по урокамъ, просить, чтобъ достать ихъ, краснѣть, получая деньги, и бояться, и дрожать отъ мысли потерять заработокъ.

Было душно и трудно въ этой однообразной жизни, гдѣ страдало самолюбіе отъ толчковъ и взглядовъ, и не было охоты ни учиться, ни сближаться; и отъ всего этого онъ чувствовалъ себя чужимъ для всѣхъ и никому не нужнымъ.

Но такъ какъ дома было еще темнѣй и горше, и молчаливѣе, то всякій разъ онъ спѣшилъ въ классъ, чего то ожидая, съ неясной надеждой на отдыхъ и свѣтъ, стараясь заглушить назойливую свору думъ гуломъ звенящихъ въ этихъ высокихъ сводахъ голосовъ и шумомъ бившейся кругомъ жизни.

Но наскучивъ къ концу дня и этими голосами, и шумомъ, и уставъ отъ нихъ, бѣжалъ домой, ожидая

чего-то уже здѣсь, и, снова наткнувшись на тишь и молчаніе, обѣдалъ нà-скоро и отправлялся по урокамъ.

И дни отъ этого были какіе-то длинные, но заполненные и куда-то спѣшившіе, и въ этихъ дняхъ были какія то нужныя смѣны впечатлѣній и необходимость движенія. Но съ окончаніемъ гимназіи ушло и это послѣднее разнообразіе, и жизнь стала тянуться по минутамъ, начинаясь съ одного боя часовъ и утыкаясь въ другой.

Въ маленькомъ и сыромъ горбатомъ домикѣ въ двухъ темныхъ комнатахъ, подъ несмолкаемые стоны старухи-матери и грустный шопотъ тихо играющей въ углу сестренки, эти часы отбивали себя, словно сами учитывали свой вѣкъ.

Ужасно было теперь и то, что работы не было и приходилось себя чувствовать какимъ-то лишнимъ и нельзя было попасть въ ногу съ жизнью и сознавать себя звеномъ ея непрерывной цѣпи.

А вслѣдствіе этого міръ казался какой-то громадой, а онъ самъ затеряннымъ въ ней, и было страшно въ сознаніи легкости опускаться внизъ и страшно, потому что поверхность, какъ волны, тотчасъ же смыкалась, и вынырнуть наверхъ не было уже ни случая, ни силъ.

И часто, стоя у окна, выходящаго въ садъ, онъ подолгу смотрѣлъ, какъ въ ночной темнотѣ, мрачной и злой, словно затаенное горе, вырисовывались силуэты нѣсколькихъ деревьевъ.

Въ прошломъ году, чтобъ сравнять, имъ обрубили верхушки, и теперь они стояли,какъ обезглавленныя, и ихъ сучья съ тонкими и рѣдкими вѣтками, торчащими вверхъ, производили впечатлѣніе поднятыхъ къ небу рукъ съ растопыренными пальцами,—будто растерянно молили они о чьей-то жалости и чьемъ то милосердіи

у этой темной ночи и далекаго неба и знали всю тщетность этой мольбы.

И онъ думалъ о томъ, что такъ же, какъ вотъ эти деревья, и люди стоятъ такими же обезглавленными, сиротливыми и одинокими, и такъ же, какъ эти деревья, каждую минуту готовые поднять руки къ небу и молить о пощадѣ и о томъ, чтобъ осмыслить жизнь, такіе же они слабые, такіе же обрубленные, и такъ же затеряны въ большой и зловѣщей темнотѣ этой жизни.

II.

Хуже всего было то, что мать пила.

Началось это всего два года назадъ, послѣ смерти отчима, и шло какъ-то незамѣтно, тихо разростаясь и прячась отъ глазъ, сначала не видѣвшихъ, потомъ не хотѣвшихъ смотрѣть, и теперь это стало настоящей болѣзнью, которая съѣдала старое здоровье, и безъ того ужъ раскраденное годами.

И теперь, подходя къ дому и берясь за ручку двери, онъ загадывалъ: если отворятъ до тѣхъ поръ, пока онъ просчитаетъ десять ударовъ, то мать—трезва; если послѣ,—то мать напилась опять.

И все чаще и чаще дверь отворяли послѣ десяти ударовъ.

Съ потемнѣвшимъ полнымъ лицомъ и безсмысленно расширившимися зрачками глазъ выходила она къ нему навстрѣчу и, стараясь произносить раздѣльно и яснѣй, напрягающимся слабымъ голосомъ говорила:

— Водинька!.. Я наколола дровъ...

— А-га!—отвѣчалъ онъ и шелъ въ комнату, гдѣ все было грязно и разбросанно и пахло табакомъ и

водкой, и въ углу которой играла въ какія то цвѣтныя тряпочки маленькая сестренка.

Онъ помнилъ свою мать другой женщиной—красивой, молодой и смѣющейся, которая любила его и часто ласкала. Но съ тѣхъ поръ, какъ она пріѣхала изъ церкви—вся въ бѣломъ,—и къ нимъ въ домъ, не знавшій послѣ смерти отца никого изъ мужчинъ, вошелъ этотъ человѣкъ, котораго ему приказали называть „папой“, онъ не можетъ вспомнить мать радостной и видѣлъ ее только озабоченной, вѣчно-хлопочущей и старающейся поступать и дѣлать такъ, какъ нравилось это пріѣхавшему изъ церкви человѣку.

И теперь, все больше и больше размышляя и вспоминая, онъ все тверже приходилъ къ одному: мать не любила его отца, а любила этого, другого, котораго надо было называть папой, и въ тоскѣ и горѣ по которомъ мать стала пить. И все сильнѣе раздражаясь противъ матери, онъ всякій разъ жадно радовался, когда, постучавъ, ждалъ—и дверь отворялась не сразу.

Злясь, дразня и подстрекая себя противъ этой пьяной женщины, онъ искалъ теперь случая выместить и унизить ее и былъ доволенъ, когда она была пьяна, и ненавидѣлъ ее трезвой, съ грустнымъ лицомъ и опущенными глазами, и тогда говорилъ ей:

— Что жъ это... не въ нормѣ?

Но, напоивъ, какъ полыньей, свою душу злобой и захмелѣвъ отъ нея, онъ захотѣлъ избавиться отъ этой тяжести, мутившей его голову, и сбросить ее.

Было больно и трудно отъ этой удушливой злобы и еще больше темнѣло все отъ ея присутствія.

И такъ какъ примириться съ матерью и съ тѣмъ, какъ она жила и поступала, было нельзя, то надо было сорвать злобу,—и случай скоро представился.

Послѣ одного особенно неудачнаго дня, проведеннаго все въ тѣхъ же напрасныхъ поискахъ работы, и вернувшись домой уже поздно вечеромъ, онъ долго стучался въ дверь, но никто не шелъ отворять, и внутри было тихо, какъ въ пустомъ домѣ.

Наконецъ, ключъ быстро завертѣлся и звонко щелкнулъ. И дверь отворила маленькая сестренка.

— Мама лежитъ,—кротко сказала она.

— Ага!—отвѣтилъ онъ, на этотъ разъ злобно,—и самъ не зная, что дѣлаетъ, и только чувствуя неодолимую жажду освобожденія отъ скопленнаго временемъ удушья, онъ подбѣжалъ къ кровати, какъ звѣрь бросился на старуху-мать и крѣпкими пальцами впился въ желтую кожу горла. И собравъ послѣднія силы, плохо понимая въ чемъ дѣло, старуха крикнула, —но такъ пронзительно и со свистомъ, что сбѣжались сосѣди—и всѣ возмущались: какъ могъ сынъ поднять на мать руку.

А Лидочка плакала и наивнымъ, прерывающимся отъ слезъ голоскомъ, говорила ему:

— Водинька! Оставь ее! Она старая, а ты сильный! Водинька!..

И выбѣжавъ изъ комнаты, чувствуя какую-то странную тяжесть и ломъ въ пальцахъ и дрожь въ ногахъ, съ охваченной огненнымъ кольцомъ головой, онъ шелъ порывисто и быстро, стараясь отдышаться и разобраться въ томъ, что произошло. Но мысли вертѣлись, какъ въ колесѣ, и только отчетливо-трепетно стучало сердце.

Въ слезливомъ предвесеньѣ, точно плачущемъ на перепутьѣ, разлилась сѣрая мгла, и, рыдая, хлюпала только что рожденная изъ снѣга вода.

Онъ полѣзъ рукой въ карманъ и, вспомнивъ, что у него нѣтъ папиросъ, зашелъ въ какую-то лавченку и, спустившись по ступенькамъ, съ трудомъ отворивъ

дверь, не хотѣвшую податься сразу, сталъ тихо закрывать ее, а затворяя, повернулся, и дѣлалъ все это такъ нерѣшительно съ виду, что самъ же подумалъ:

„Какъ воръ“...

Когда приказчикъ завертывалъ ему пачку, вдругъ выбѣжалъ хозяинъ и торопливымъ и строгимъ голосомъ спросилъ:

— Былъ тутъ молодой человѣкъ? Украли ротонду... Вчера— шубу, сегодня—ротонду.

И Нарѣзову вдругъ пришла мысль,—сладострастно-заманчивая мысль—тутъ же, не выходя изъ лавченки, пережить всѣ ощущенія вора, почувствовать себя такъ, какъ будто ротонду укралъ онъ, и наблюдать за собой, что станетъ онъ дѣлать въ этомъ новомъ для себя положеніи.

И мгновенно ощутивъ на себѣ, какъ ему казалось, робкую колеблющуюся рѣшимость одного изъ молодцовъ—схватить и задержать его; ощутивъ быстро мелькнувшій по его лицу подозрительный взглядъ хозяина, самъ не зная зачѣмъ, онъ попросилъ совершенно неожиданно перо и, вынувъ свой паспортъ, въ чистой еще графѣ: „подпись владѣльца книжки“—медленно и ровно записалъ: „Всеволодъ Андреевичъ Нарѣзовъ“.

А потомъ, опять также тихо отворивъ и затворивъ за собой тугую дверь, пошелъ домой и все время до самой квартиры ему чудился догонный бѣгъ обокраденныхъ и преслѣдующихъ его людей, и на душѣ отъ этого было такъ жутко и смѣшанно...

III.

Не находя покоя дома, чужой для всѣхъ въ этомъ городѣ, безъ мѣста, Нарѣзовъ рѣшилъ перебраться

въ столицу и избралъ для этого Москву. Онъ зналъ, что жизнь, которой онъ жилъ до сихъ поръ, ненастоящая и фальшивая, какъ будто созданная для него одного и издѣвавшаяся надъ нимъ и обманывавшая; казалось, что есть и должна быть гдѣ-нибудь другая жизнь—съ огнями и пѣснями, теплая, ласковая и радостная, и что она течетъ непремѣнно въ большихъ городахъ, гдѣ много красивыхъ женщинъ и высокихъ домовъ, и гдѣ людямъ живется весело, беззаботно и легко.

Но и въ Москвѣ въ теченіе почти цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ не удавалось найти работы, а искать ее все-таки было нужно и потому приходилось ходить, ждать въ переднихъ и просить, и при этомъ отвѣчать на вопросы, которые безцеремонно вскрывали его прошлое, его прежнюю жизнь, его средства и знанія, и вытаскивали наружу то, что, казалось, никому не было нужды знать.

И во время этихъ поисковъ съ Нарѣзовымъ произошелъ одинъ маловажный и незначительный случай, который произвелъ на него очень большое впечатлѣніе, и оно осталось въ немъ надолго, какъ давящая каменная загадка.

...Въ одно утро онъ пришелъ вмѣстѣ съ однимъ изъ товарищей по гимназіи,—теперь студентомъ,—къ начальнику акцизнаго округа, чтобы просить о мѣстѣ. И по какой то странной робости, не осмѣлившись позвониться, и несмотря на удивленіе и протестъ сопровождавшаго его студента, рѣшилъ войти чрезъ черный ходъ и тамъ, на кухнѣ, приказалъ доложить о себѣ.

И когда его приняли, и онъ стоялъ въ гостиной въ ожиданіи акцизнаго начальника, въ комнату вошла, щелкая шелкомъ юбокъ, женщина, и впечатлѣніе у

Нарѣзова осталось только отъ блеска ея зубовъ и глазъ и краснаго полнаго рта.

Плохо рѣшаясь и неловко протянувъ руку, онъ назвалъ ей свою фамилію, а она улыбнулась и поклонилась ему такъ, какъ будто представиться ей слѣдовало, но можно было этого и недѣлать. И когда потомъ, послѣ разговора съ начальникомъ округа, онъ надѣвалъ уже пальто въ передней, дверь изъ угловой комнаты отворилась тихонько, и оттуда выглянула на него пара черныхъ печальныхъ глазъ другой женщины, одѣтой также во все черное. А впослѣдствіи онъ узналъ, что это была жена акцизника, а шуршавшая юбками и блестѣвшая зубами — горничная, съ которой жилъ акцизникъ, какъ съ женой.

Этотъ фактъ, и два печальныхъ черныхъ глаза, смотрѣвшихъ изъ низенькой бѣлой двери, цѣпко привязались къ его памяти и упрямо не оставляли его воображенія,—и какъ ни старался онъ отвязаться отъ нихъ и не думать объ этой встрѣчѣ,—воспоминаніе это приходило все также часто, иногда по нѣскольку разъ въ день. И движимый какой то непонятной, но властной и притягательной силой воображенія, похожей на любопытство и на зарождающуюся любовь, онъ сталъ чаще заглядывать въ эту улицу, и когда шелъ даже по дѣлу, то и тогда находилъ предлогъ и возможность пройти мимо дома той, которая вызвала въ немъ счастливую грусть состраданія и сладкую муку надеждъ. Непонятнымъ образомъ въ немъ поселилась увѣренность въ неизбѣжности будущей встрѣчи, и онъ ждалъ ее, какъ должное и рѣшенное.

И однажды — это было въ субботу вечеромъ—онъ встрѣтилъ женщину, глаза которой такъ печально смотрѣли на него и такъ взволновали память его сердца.

Не теряя ни минуты, съ какой-то странной рѣшимостью онъ подошелъ къ ней и, приподнявъ шапку, сказалъ:

— Здравствуйте...

И вздрогнувъ. она обернулась, и снова грустные и черные, какъ трауръ, глаза посмотрѣли на него, но во взглядѣ ихъ уже не было ни удивленія, ни страха, какъ не было ихъ и въ голосѣ. Просто произнесла она:

— Здравствуйте...

Нарѣзова не удивило, что она его запомнила и узнала, потому что сейчасъ все случилось такъ, какъ онъ себѣ это представлялъ. Она шла въ церковь, гдѣ бывала каждую субботу, и гдѣ простаивала всю всенощную. И рѣшивъ проводить ее и назадъ до дому, вмѣстѣ съ ней вошелъ въ храмъ Нарѣзовъ, небывавшій на церковныхъ служеніяхъ съ самаго окончанія гимназіи.

Было молитвенно, строго и тихо въ большой церкви, но Нарѣзову не было легко и здѣсь. И когда пѣли тонкіе и чистые голоса, какъ бы пораженные величіемъ Бога, къ которому обращались со своими нуждами и горемъ слабые люди, и когда громко и грубо, съ презрѣніемъ въ голосѣ къ грѣху и людской грязи, читалъ дьяконъ,— Нарѣзовъ сознавалъ только то, что онъ лично ничего не можетъ и не смѣетъ, что достиженія Бога нѣтъ нигдѣ. И его удивляло кроткое, счастливое и грустное отношеніе къ молитвѣ у той, которая привела его сюда, и ея сладостно вѣрующее поклоненіе до земли, чего не дѣлалъ и стыдился дѣлать самъ Нарѣзовъ...

Такъ провожалъ онъ грустную женщину въ слѣдующую субботу и еще разъ.

И по дорогѣ туда и обратно они всегда говорили о томъ же самомъ,—объ ея жизни и горѣ и терпѣливомъ

смиреніи, и Нарѣзовъ все совѣтовалъ ей бросить мужа и идти искать другого счастья.

Стараясь разгадать ея сердце и уловить тайный смыслъ ея думъ и чувствъ, онъ, наконецъ, рѣшился и наивно спросилъ:

— Если мужъ вашъ нехорошій человѣкъ, если онъ живетъ съ другой, которую вы презираете, то отчего же, почему вы все-таки не хотите его бросить?

И ему отвѣтили:

— Быть можетъ, именно потому, что я знаю, что та его не любитъ. Знаю, что она ниже меня и поэтому къ ней не можетъ быть ни ревности... ни даже злобы...

А главное все-таки въ томъ, что я его люблю. И только въ этомъ мое несчастье и... мое прощенье.

И взглянувъ Нарѣзову въ глаза съ печальной улыбкой недовѣрія къ тому, что онъ понялъ, какъ слѣдуетъ,— она вздохнула и прибавила:

— Вѣдь, вы не могли бы поступать такъ... А между тѣмъ, только прощая и любя, я могу еще жить. И въ этомъ прощеніи моя любовь только крѣпнетъ... Замѣчали ль вы,—продолжала она,—что хорошія мысли похожи на птицъ: и тѣ и другія не засиживаются. И чтобъ удержать ихъ, надо любить. И притомъ не счастливой любовью,—довольной и полной,—а такъ, какъ я.

V.

Здѣсь же, въ Москвѣ, и по совѣту все того же студента, къ которому онъ въ это время заходилъ по вечерамъ, Нарѣзовъ взялся за чтеніе, и такъ какъ романовъ прочелъ много въ гимназіи, то рѣшилъ подойти къ философіи.

Такъ читалъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ, сначала съ жадностью и со вниманіемъ, но потомъ все равнодушнѣе и холоднѣе, и оставался всегда неудовлетвореннымъ, потому что многаго въ этихъ книгахъ не понималъ, а изъ того, что было ясно и доступно и что, главнымъ образомъ, и хотѣли доказать философы, выходило все въ мірѣ гладкимъ, стройнымъ и потому желательнымъ. И жить въ этомъ стройномъ мірѣ должно было легко.

И протестуя противъ этой стройности и нужности всего, міровой жизнью созданнаго, онъ отбрасывалъ книгу за книгой и удивлялся, что люди могутъ читать ихъ и находить глубокими, умными и важными тѣ несправедливые и явно-фальшивые выводы, которыми эти философы ихъ морочатъ, не давая даже простого успокоенія.

Больше всего ему понравился Шопенгауэръ.

Его онъ понималъ ближе другихъ мыслителей, но и къ нему оставался холоденъ, считалъ его неискреннимъ и думалъ, что онъ, вѣроятно, жилъ хорошо, а мрачность и скорбь только привилъ себѣ.

И желая провѣрить это, досталъ и прочелъ его біографію.

Изъ нея онъ узналъ, что Шопенгауэръ не любилъ своей матери и былъ грубъ съ ней, и это приблизило сердце Нарѣзова къ нему и примирило его съ софистичностью его писаній.

А то обстоятельство, что Шопенгауэръ былъ дуренъ собой и отъ этого страдалъ, сначала удивило Нарѣзова, но сразу заставило задуматься надъ тѣмъ,— можно ли быть несчастнымъ отъ некрасивости. И въ первый моментъ на этотъ вопросъ онъ отвѣтилъ себѣ отрицательно. Но уже тотчасъ усумнился въ справед-

ливости этого отвѣта и тутъ же вспомнилъ, что до сихъ поръ ни разу не задавался такой мыслью о себѣ и не зналъ,—точно,—красивъ онъ самъ, или дуренъ.

И подойдя къ зеркалу, и увидя свое небритое, блѣдное и длинное лицо, давно немытую рубашку, у которой особенно выдѣлялась потемнѣвшая отъ грязи пуговка ворота, и заплатанную на локтяхъ тужурку, успокоилъ себя тѣмъ, что сейчасъ, въ такомъ видѣ, нельзя рѣшить этого вопроса, потому что въ такомъ костюмѣ, небритые и усталые, всѣ люди должны быть безобразны, и если одни изъ нихъ красивѣй другихъ, то только потому, что у нихъ больше денегъ, лучше и вкуснѣе ѣда, а одежда сдѣлана такъ, чтобы прятать недостатки, и обманывая глаза другихъ, выдавать своихъ обладателей за стройныхъ, чистыхъ и пропорціональныхъ.

Но какъ ни просто и быстро отдѣлался онъ отъ этого вопроса, мысль о наружности съ этихъ поръ его не покидала, и онъ чаще сталъ подходить къ зеркалу и мучительнѣй думать о деньгахъ, чрезъ которыя можно было, какъ ему казалось, сдѣлаться лучше съ виду:—побриться, одѣться, сытно ѣсть, и отъ всего этого чувствовать себя смѣлѣй, покойнѣй и не бояться людского вниманія, которымъ измѣряютъ достоинство человѣка.

И эти напряженныя думы о деньгахъ, и мечты о возможности, благодаря имъ, стать замѣтнымъ и нарядным, еще больнѣе заставляли сознавать всю безпомощность и бѣдность его жизни и ничтожество его силъ.

Ища въ книгахъ отвѣта на сомнѣнія и запросы личности, Нарѣзовъ остался и здѣсь неудовлетвореннымъ и разочарованнымъ, и бросилъ читать.

А бросивъ, сталъ тосковать и все чаще подходить

къ зеркалу, и все жаднѣй и злобнѣй думать о томъ, какъ бы поскорѣй достать денегъ, похорошѣть и зажить плавной, ровной и полной жизнью, и отъ неуспѣха терзался болѣзненной мукой презрѣнія къ себѣ и жгучей ненавистью къ людямъ.

V.

Урокъ и переписка нашлись какъ-то сразу и, какъ это часто бываетъ, совершенно случайно—черезъ знакомство, сведенное въ ресторанѣ. И общій заработокъ могъ теперь достигнуть до 40 рублей въ мѣсяцъ, такъ что жить можно было спокойно и сыто.

И когда Нарѣзовъ сидѣлъ въ парикмахерской, и его брили, а потомъ обмывали лицо и вспрыскивали голову какой-то душистой пріятной жидкостью, отъ которой становилось свѣжо и легко, онъ думалъ, что эти пріятныя ощущенія отъ новыхъ условій, начавшіяся здѣсь,—въ парикмахерской,—будутъ сопровождать его и дальше, все время, пока онъ этого будетъ хотѣть.

Тѣ же пріятныя ощущенія продолжали его баловать и въ ресторанѣ, гдѣ онъ теперь выбиралъ и заказывалъ самъ, могъ говорить громко и властно, давать „на чай“ и шутить съ лакеями и швейцаромъ, и тогда, когда онъ ѣхалъ на извозчикѣ,—и въ магазинахъ, гдѣ онъ покупалъ себѣ галстукъ и бѣлье.

Но постепенно обвыкаясь съ новымъ положеніемъ, приходя къ себѣ въ комнату, Нарѣзовъ попрежнему сталъ теперь думать, что все, дозволяемое ему жизнью, не выходитъ изъ предѣловъ самаго ограниченнаго существованія, и голова и душа его остаются попрежнему незанятыми и пустыми.

Кромѣ того, получивъ возможность привести въ порядокъ свою внѣшность, онъ убѣждался съ каждымъ днемъ въ томъ, что онъ некрасивъ, и что въ его наружности нѣтъ ничего ни привлекательнаго, ни внушающаго уваженія и нравиться, напримѣръ, женщинѣ онъ не могъ бы. И теперь это сознаніе было еще мучительнѣй, потому что прежде причину этихъ недостатковъ онъ видѣлъ въ отсутствіи денегъ,—теперь же приходилось признать, что все дѣло въ немъ самомъ, въ его обдѣленности и нескладности.

И самый урокъ былъ неинтересный, потому что ученикъ былъ малъ, неспособенъ и лѣнивъ; и объяснять ему нужно было по многу разъ и притомъ вещи, казавшіяся совершенно ясными, и это было не только скучно, но и тяжело, такъ какъ объяснять простое всегда трудно. Переписка же—и сама по себѣ надоѣдливая—имѣла еще ту дурную сторону, что въ переписываемомъ,—это были статистическія таблицы думы,—онъ совершенно не участвовалъ мыслью.

Урокъ былъ у офицера, у артиллерійскаго полковника, готовившаго своего сына въ кадетскій корпусъ. Полковникъ служилъ при какомъ-то складѣ оружія, и въ его кабинетѣ по стѣнамъ висѣло много револьверовъ и ружей разныхъ системъ.

И Нарѣзовъ заинтересовался различными конструкціями револьверовъ и, разсматривая ихъ, съ какимъ-то умиленіемъ любовался маленькими блестящими бойками, которые вездѣ были такъ ловко пригнаны, что всегда ударялись, какъ жадные клювики, въ самую середину патрона.

Взявъ револьверъ, онъ обыкновенно долго держалъ его въ рукахъ, вертѣлъ и разглядывалъ, и хотя самъ часто догадывался о томъ, какъ надо имъ дѣйствовать,

тѣмъ не менѣе всегда обращался къ кому-нибудь изъ присутствующихъ съ просьбой показать секретъ заряжанія и стрѣльбы, и послѣ разсказа уже начиналъ самъ отводить курокъ и щелкать, и щелкалъ до тѣхъ поръ, пока его не предостерегали, что такъ можно испортить механизмъ.

Было что-то зловѣщее и ехидное въ этихъ аккуратныхъ небольшихъ машинкахъ, чистенькихъ и блестящихъ, и вмѣстѣ—притягательное, такъ что, взявъ, не хотѣлось выпускать: такое сладкое и жуткое чувство вызывали они у всякаго, кто держалъ ихъ въ рукахъ.

Случилось, что Нарѣзову понадобились деньги, и онъ, послѣ долгихъ колебаній, откашливаясь и громоздя слова, обратился къ полковнику съ просьбой дать ему десять рублей впередъ за урокъ, но получилъ отказъ. И это такъ повліяло на Нарѣзова, что всю дорогу домой онъ щипалъ себя, какъ бы желая выместить хоть этимъ способомъ всю свою горечь и униженіе.

Придя къ себѣ, въ комнату, онъ бросилъ со злобой шапку объ полъ и, скрипя зубами, бухнулся въ кресло, и больше часа просидѣлъ на одномъ мѣстѣ, придумывая различные способы отплаты за обиду, ломая себѣ пальцы и посылая мысленно ругательства и проклятія хлеснувшему его человѣку.

Но какъ ни измышлялъ онъ такихъ способовъ,— придумать не могъ ничего. И сознавъ еще разъ съ безсильнымъ трепетомъ злобы всю слабость и все свое ничтожество, обреченныя на служеніе сильнымъ людямъ и на покорность случаю, весь содрогаясь отъ конвульсій самолюбія и горя стыдомъ за себя, ненавидя всѣхъ и съ презрѣніемъ къ себѣ, вышелъ изъ дому, хлопая дверьми и до боли стуча ногами по каменнымъ сту-

пенькамъ, и отправился къ студенту, а потомъ вмѣстѣ съ нимъ въ ресторанъ.

... Тихо было на улицѣ и какой-то печалью вѣяло отъ неподвижныхъ высокихъ домовъ и желтыхъ огней въ покорно стоящихъ фонаряхъ.

Крупный снѣгъ, какъ стая подстрѣленныхъ бѣлыхъ птицъ, безсильно падалъ на затихшую землю. И каждая бѣлая птица, пролетая мимо освѣщенныхъ стеколъ, въ послѣдній разъ смотрѣлась въ нихъ и исчезала безслѣдно въ холодномъ мракѣ.

Въ дальнемъ углу ресторана, за маленькимъ столикомъ, у окна, положивъ голову на поставленныя руки, предъ бутылкой пива сидѣлъ человѣкъ и о чемъ-то думалъ напряженной и медленной, обсуждающей думой.

Студентъ подошелъ къ нему и, поздоровавшись, представилъ ему Нарѣзова.

— Это—Агѣевъ,—сказалъ онъ,—а по профессіи—врачъ. А это—Нарѣзовъ.

— Онъ засмѣялся и прибавилъ: человѣкъ тихаго запоя... Во всѣхъ смыслахъ. Больной навязчивой идеей... Познакомьтесь... Вы—врачъ, а онъ—паціентомъ будетъ...

Агѣевъ возбуждалъ во всѣхъ, знавшихъ его, чувство мягкой привязанности, а въ тѣхъ, кто терзался и мучился, не находя отвѣтовъ на вопросы жизни, вызывалъ удивленную зависть: такой спокойный онъ былъ съ виду, и такая ровность разлита была по всей его внѣшности, по голубымъ глазамъ и въ тихой рѣчи.

Казалось, у этого человѣка не было и не могло быть ни сомнѣній, ни тоски, ни горя сердца,—или не зналъ онъ ихъ, или они остались гдѣ-то назади, какъ далекій моментъ прошлаго, и предъ Нарѣзовымъ сидѣлъ какой-то отшельникъ, въ добровольномъ одиночествѣ нашедшій свое жуткое счастье.

Когда разговоръ зашелъ о молодыхъ поэтахъ, которыхъ такъ любилъ Агѣевъ, и къ которымъ непріязненно относился Нарѣзовъ,—находя ихъ тоскливыми мечтателями, живущими снами, —Агѣевъ сказалъ:

— Вы—противникъ цвѣтовъ и музыки, которыми украшаютъ свои стихи поэты... Позвольте же вамъ привести одно мѣсто—и не изъ современныхъ авторовъ, а изъ очень давнихъ. Вотъ слушайте: „И на ней украшеніе золотое и узы ея—гіацинтовыя нити“...

— Ну, что-жъ,—сказалъ Нарѣзовъ,—опять „гіацинты“, опять „нити“...

Агѣевъ вздохнулъ, немного поморщился и объяснилъ:

— „Она“—это премудрость... Стихъ же этотъ взятъ мной изъ Библіи, изъ самой замѣчательной ея книги,—изъ книги Премудрости Іисуса, сына Сирахова.

Нарѣзовъ и раньше слышалъ про эту книгу и вспомнилъ теперь, какъ ихъ предостерегалъ гимназическій священникъ не читать ея „до зрѣлости“.

И онъ сталъ разспрашивать Агѣева объ этой книгѣ стараясь тутъ же вникнуть въ ея содержаніе, и горя желаніемъ узнать,—о чемъ она.

Но тотъ не помнилъ всего и отвѣтилъ:

— Наизусть многаго не знаю... Тамъ все—глубоко и все важно, и нѣтъ ничего, что бы не стоило запомнить. И тутъ неудобно и нельзя говорить объ этомъ... Я очень люблю эту книгу.

Все больше заинтересовываясь Агѣевымъ и тѣмъ, что онъ сказалъ о Библіи, Нарѣзовъ предложилъ ему прочесть книгу вмѣстѣ, и для этого они согласились собраться у Агѣева, а по случаю новаго знакомства, подъ хорошимъ настроеніемъ встрѣчи, спросили даже

коньяку, котораго Нарѣзовъ не пилъ никогда, а Агѣевъ рѣдко.

И за коньякомъ говорили все о томъ же,—объ искусствѣ жить, о горечи и трудности этого искусства, о темныхъ тайнахъ жизни, которыхъ не раскрываетъ ни одна изъ системъ философіи, не освѣщаетъ полнымъ свѣтомъ ни одна изъ пѣсенъ поэтовъ, и которыя, какъ бы въ сознаніи своей вѣчной, наглухо скрытой тьмы,—спокойно и жестоко лгутъ людямъ, маня ихъ къ себѣ, и дразнятъ, позволяя надѣяться разгадать себя, и обезсиливаютъ, измучивъ въ борьбѣ. И продолжаютъ унижать и озлоблять, свершая то большое и неправедное дѣло, разныя стороны котораго называются человѣческими отношеніями, а все вмѣстѣ—людской жизнью.

— И чѣмъ дальше, тѣмъ меньше покоя... сказалъ задумчиво Нарѣзовъ... И чѣмъ дальше, тѣмъ больше обезцѣнивается и обезсмысливается жизнь и человѣкъ...

— И больше тянетъ его къ смерти—докончилъ медленно Агѣевъ. Тянетъ, какъ къ опасной радости.. Тянетъ потому, что для большинства она страшна и еще потому, что надъ ней мало кто думаетъ и никто не знаетъ ея... Чѣмъ дальше будетъ уходить отъ слабыхъ счастье, тѣмъ будетъ чаще и скорѣе приходить смерть. И чѣмъ больше будетъ слабыхъ людей, тѣмъ больше будетъ случаевъ смерти... Въ Библіи сказано: „Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дастся ему“... Но слабые не умѣютъ и не могутъ желать жизни...

— Какъ вы сказали... изъ Библіи?.. Повторите, пожалуйста...

И Агѣевъ повторилъ:

— „Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дастся ему“...

— „Предъ человѣкомъ жизнь и смерть“,—раздѣляя слова и съ расширеннымъ правымъ глазомъ размышленно тянулъ Нарѣзовъ,—„и чего онъ пожелаетъ... то и... дастся ему“...

— Хмъ?..—сказалъ онъ... „Чего... онъ... пожелаетъ...“ Вотъ такъ штука!

VI.

И когда ресторанъ закрыли, и они шли домой вдвоемъ со студентомъ,—потому что Агѣевъ жилъ въ другой сторонѣ, за городомъ, — Нарѣзовъ думалъ о томъ, что во власти человѣческой чье-то милосердіе еще оставило одну потаенную дверь, ведущую къ покою и въ головѣ его все вертѣлись загадочно-значительныя слова Библіи, важныя, сухія и строгія.

И обращаясь къ студенту, и желая узнать еще что-нибудь объ Агѣевѣ, Нарѣзовъ промолвилъ:

— Какой странный этотъ Агѣевъ... Въ немъ что-то спокойное... Какой то удовольствовавшійся онъ...

— Нѣтъ, не удовольствовавшійся... Но это оригинальный человѣкъ... Видите ли, люди, которыхъ жизнь долго лицемѣрно гладила, а потомъ, заставивъ вѣрить въ себя, жестоко высѣкла, должны быть точно такіе, какъ Агѣевъ. Дѣло въ томъ,—видите ли,—что большинство позволяетъ себя сѣчь понемножку ежедневно, потому что этотъ „каждый день“ для нихъ—все, и они живутъ только этимъ „каждымъ днемъ“... Но есть другіе, тѣ, которыхъ нельзя сѣчь понемножку, а нужно или совсѣмъ не трогать, или же хорошенько наказать разъ... И вотъ изъ этихъ-то и выходятъ—часто мыслители, а иногда... аскеты.

— И я его - оживленно перебилъ Нарѣзовъ,—сразу окрестилъ „отшельникомъ на міру“...

Студентъ разсказалъ Нарѣзову то, что знали почти всѣ про Агѣева,—то, что онъ ни съ кѣмъ почти не видится, что много благотворитъ потихоньку, что онъ пишетъ стихи, что нѣкоторые изъ печатающихся поэтовъ выпускаютъ ихъ часто подъ своими именами, что онъ женственно мягокъ, и въ его стихахъ есть что-то дѣтское; что онъ любилъ когда-то и былъ тогда другимъ человѣкомъ, но какъ-то сразу измѣнился и никто не зналъ—почему; и сталъ тѣмъ, какимъ его видѣлъ Нарѣзовъ.

На городскихъ часахъ пробило два удара, и было мрачно на пустынныхъ и глухихъ улицахъ.

И черное желѣзное небо, и темныя ткани ночи, и гулкіе голоса человѣческіе, рѣдко раздававшіеся здѣсь, говорили о какой-то короткой и страшной тайнѣ, о чемъ-то случающемся внезапно и непоправимомъ, что угрожаетъ и стережетъ рѣшительно всѣхъ.

Но когда онъ, уже въ кровати, вспоминалъ о вечерѣ и объ Агѣевѣ, къ нему въ сердце стучалось что-то радостное, какъ голосъ освобожденія, и шептало, что разгадку тревожившей его жизни и секретъ безсилія и указаніе настоящаго пути и выхода къ лучшему онъ найдетъ у этого человѣка, чрезъ эту старую и большую таинственную книгу, скрывавшую въ себѣ такъ много смысла и мудрости.

Ночью же снился ему горбатый домикъ въ далекомъ городѣ и въ немъ—его мать. Но не пьяная, а молодая, красивая,—какой она была когда-то,—и на колѣняхъ у нея, положивъ головку на ея грудь, сладко спала сестренка.

Разбудилъ его звенящій лязгъ желѣзной лопаты сгребавшей снѣгъ.

Передъ окномъ его комнаты выросла большая снѣговая гора, и одинъ ея край сверху былъ опоясанъ свѣтлой атласной лентой съ розовыми солнечными отливами. И на душѣ было спокойно, ясно и мирно.

VII.

Послѣ этого вечера Нарѣзовъ и Агѣевъ видѣлись еще нѣсколько разъ, и Нарѣзовъ успѣлъ разсказать ему многое изъ своей прежней жизни и даже показать свой дневникъ, въ которомъ онъ пробовалъ себя опредѣлить и не могъ, и который былъ сплошь исповѣдью протестующаго и уставшаго вѣрить человѣка, успѣвшаго озлобиться и не умѣвшаго помочь самому себѣ. Какъ всѣ затоптанные и маявшіеся люди, тихій съ виду, Нарѣзовъ носилъ въ себѣ горячее и бурное стремленіе рваться и крушить и, презирая другихъ, презиралъ и себя.

Въ одномъ мѣстѣ дневника Агѣева заинтересовало нѣсколько строкъ:

...„Вопросъ въ томъ,—писалось тамъ,—какъ прожить безъ этого дальше, что бы не слиться съ другими окончательно, не стереться до гладкой монеты, не утерять хоть то немногое, то маленькое и незамѣтное, что дорого мнѣ одному, что даетъ мнѣ право носить особое имя и отчество, свою собственную фамилію и имѣть своихъ предковъ и свою настоящую жизнь. Продолжая такъ, я рискую потерять и это послѣднее... Какъ ни ужасно, но съ трепетомъ, съ мукой, со слезами я долженъ признаться: „Да, я могу потерять и это

послѣднее...“ И мнѣ хочется сейчасъ опуститься на колѣни и со всѣмъ пыломъ страсти, который у меня еще есть, умолять Бога: „Господи! Дай одно, одно только, ничего больше,—только одно: дай мнѣ вѣчно чувствовать, любить и цѣнить свое „я“, —собственное мое „достоинство“...

А сбоку тутъ же была надпись сдѣланная краснымъ карандашемъ: „Собственное достоинство дворянина Нарѣзова!!.“

И когда Агѣевъ заговорилъ однажды объ этомъ мѣстѣ, Нарѣзовъ, весь красный, и дрожа отъ волненія, сказалъ, что запись эта была сдѣлана въ минуту похмѣлья...

Читать Библію они рѣшили въ ближайшую пятницу. Нарѣзовъ пришелъ часовъ въ семь и, напившись чаю, они сѣли за чтеніе.

Откинувшись въ глубину кресла, охвативъ руками колѣна, сидя какъ судья, призванный сказать послѣднее слово въ мудреномъ вопросѣ, Нарѣзовъ слушалъ, какъ медленно и съ чувствомъ, словно прокрадываясь въ скрытый ихъ смыслъ, произносилъ Агѣевъ библейскіе стихи ѣдкой и горькой книги. Разширились глаза его и при темно-зеленомъ блескѣ горѣвшей лампы, казалось, хоронили въ глубинѣ своихъ зрачковъ что-то хитро добытое,—что долго не давалось въ руки,— и все лицо читавшаго было настороженное и строгое. Въ умершей тишинѣ большихъ комнатъ голосъ Агѣева раздавался, какъ отчитываніе надъ покойникомъ, — и притаившись, слушали его и старыя картины въ рамахъ, и стулья съ прямыми глухими спинками, въ темнотѣ похожіе на сидящихъ монаховъ. Казалось, что въ эту ночь готовилось совершиться невзначай что-то роковое, про что знали и эти стѣны, и угрюмый шкафъ,

и хмурые углы, потемнѣвшіе на потолкѣ, и о чемъ они только пока рѣшили держать секретъ.

Агѣевъ читалъ:

— „Знай, что ты посреди сѣтей идешь, и по зубцамъ городскихъ стѣнъ проходишь“...

А Нарѣзовъ думалъ въ это время:

— Надъ злой бездной, которая прикрылась мелочами и лоскутами жизни, и схоронилась, и молчитъ подъ трескучій шумъ суеты, и стережетъ добычу, и глотаетъ слабыхъ.

И будто въ отвѣтъ онъ услышалъ:

— „Ловля у львовъ — дикіе ослы въ пустынѣ, такъ пастбища богатыхъ—бѣдные“...

Какъ бичемъ хлестнула его эта фраза по слуху, и чувство досадной обиды, жгучей озлобленности на себя и стыда за тысячи другихъ заколыхало въ немъ кровь, и стало мутить его разсудокъ, и что-то билось внутри его сердца, и отъ этого дрожали руки и сжималось горло.

И этому волненію шли навстрѣчу стихи, лаская и дразня его:

— „Душа горячая, какъ пылающій огонь, не угаснетъ, пока не истощится“.

— „Кто бросаетъ камень вверхъ, бросаетъ его на свою голову, и коварный ударъ раздѣлитъ раны“.

— „Занимай раба работой и будешь имѣть покой; ослабь руки ему, и онъ будетъ искать свободу“.

Весь притихшій, съ краснымъ напряженнымъ лицомъ и блестящими безсильнымъ гнѣвомъ глазами, молча сидѣлъ Нарѣзовъ въ своемъ креслѣ, и только голова его подалась впередъ, въ невольномъ желаніи подойти еще ближе къ таинственному смыслу простыхъ и важныхъ словъ.

— „Кто не имѣлъ опытовъ, тотъ мало знаетъ, а кто странствовалъ, тотъ умножилъ знанія“.

И все существо Нарѣзова говорило ему о тягости этихъ опытовъ, непосильной для него, объ ихъ томительности, которая не проходитъ для него безнаказанно и безслѣдно, и съ тихимъ вздохомъ онъ подумалъ сейчасъ о томъ, какое счастье испытывать легкость и простоту этой жизни и смотрѣть въ ея глубину, темную и тайную, ясными и наивными глазами вѣры.

И продолжая свои мысли, онъ сказалъ:

— Жизнь, какъ ядъ: чѣмъ больше ее изучаешь и познаешь, чѣмъ больше этихъ „опытовъ“ производишь въ ея лабораторіи, тѣмъ больше и горше отравляешься. Познавшій и отравленный— одно. Вотъ почему кажется, что жизнь, созданная для познанія жизни, есть ложь и недоразумѣніе. Какъ будто нельзя было бы ее постигнуть и познать, оставаясь здоровымъ и свободнымъ, а нужно непремѣнно искалѣчить душу, озлобиться и сдѣлаться рабомъ, чтобы, познавъ, искать свободы... Странно и глупо!..

— Видите ли,—отвѣтилъ Агѣевъ,—очевидно, человѣчеству суждено найти свободу, разъ ему позволено искать ее. Только найти ему суждено, намаявшись, и, быть можетъ, встрѣтить ее съ проклятіями. И это послѣдовательно, какъ опытъ, какъ проба, которыми дорожитъ исторія, и, вотъ, слушайте, что здѣсь сказано дальше:

— „Онъ,—Господь,—будетъ воздавать отмщеніе и народамъ, доколѣ не истребитъ сонма притѣснителей и не сокрушитъ скептровъ неправедныхъ“.

— Значитъ, это когда-нибудь будетъ... протянулъ Нарѣзовъ, смотря внимательно въ лицо Агѣеву, и

вдругъ поднялся, и, весь вытянувшись, какъ будто сразу ставъ выше самого себя, закричалъ:

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Никогда этого не будетъ... Нѣтъ!..

А потомъ сразу смолкъ и глаза его остановились. Такъ молчалъ онъ, и кругомъ росла тишина, населенная тѣнями и мракомъ. Но, вдругъ вспыхнувъ весь, онъ топнулъ и сказалъ:

— Нѣтъ... Не будетъ этого, во вѣкъ не будетъ!

И горечью убѣжденнаго отчаянія прозвучалъ его надорванный голосъ. Онъ вырвалъ книгу изъ рукъ Агѣева и сталъ быстро переворачивать ея страницы и скользилъ взглядомъ по ея строкамъ съ жадностью, словно желая воочію убѣдиться въ томъ смыслѣ, который нежданно открывался передъ нимъ въ этотъ вечеръ.

Три стиха были подчеркнуты и особенно поэтому просились на вниманіе и останавливали бѣжавшій взглядъ Нарѣзова.

Стихи эти были слѣдующіе:

„Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дастся ему“.

Второй стихъ говорилъ:

„У всякаго досада и ревность, и смущеніе, и безпокойство, и страхъ смерти, и негодованіе, и распри, и во время успокоенія на ложѣ ночной сонъ разстраиваетъ умъ его“.

И, наконецъ, третій съ какой-то радостью взывалъ къ освобожденію въ смерти:

„О смерть! отраденъ твой приговоръ для человѣка, нуждающагося и изнемогающаго въ силахъ“.

VIII.

Тяжелой черной занавѣсью стояла тьма въ далекихъ комнатахъ. Казалось, мракъ ворвется и сюда. Но мракъ боялся голосовъ и свѣта,—онъ подошелъ вплотную къ освѣщенной комнатѣ, но не переступалъ ея порога и упорно стоялъ за дверями, будто ожидая момента, когда потушатъ, наконецъ, огонь и можно будетъ войти и затопить своими черными волнами и эту затихшую молчащую комнату.

Агѣевъ усталъ сидѣть и давно ушелъ спать, а Нарѣзовъ все повторялъ послѣдніе стихи, измѣняя интонаціи, произнося ихъ то вдумчиво, то страстно, нараспѣвъ, то таинственно въ одномъ тонѣ,—не повышая и не понижая голоса. И вся комната, казалось, наполнялась этими словами, и какая то темная и сухая сила взяла въ свою власть и его умъ, и тѣло Нарѣзова и сердце.

А онъ все повторялъ, все читалъ вслухъ эти поразившія его строки, и слово „смерть“ отлитое въ славянскихъ буквахъ, угрюмыхъ, печальныхъ и непривычныхъ для глаза, теперь пріобрѣтало новый смыслъ на этихъ пожелтѣвшихъ и внушительныхъ страницахъ, и сродненное и сближенное чрезъ эти буквы съ намогильными надписями, звучало тише, мертвеннѣй и загадочнѣй и, односложное, было кратко, какъ моментъ, и пророчило о чемъ то холодномъ, нежданномъ и жестокомъ:

„Смерть“.

И изъ міра, который не возвращаетъ, предъ нимъ подымался во весь тяжелый ростъ задумчивый старикъ,

постигшій тайну вѣковѣчной ночи бредущаго человѣчества, и съ головой, печально склоненной на грудь, и потемнѣвшими отъ скорби глазами, говорилъ ему отъ имени вѣчности это испытывающее дѣтскую волю и отрадное сильнымъ слово:

„Смерть“.

И звалъ, и приказывалъ, повелѣвая, какъ господинъ истины и царь открывшейся тайны. И слова эти тянули къ себѣ, охватывали своимъ горячимъ смысломъ и зажигали мечту о лучшемъ мірѣ.

. . . . . .

Уже свѣтило солнце, гдѣ то далеко былъ слышенъ крѣпкій топотъ, и бодро просыпалась жизнь, чѣмъ-то стуча и начавъ свой новый день.

Послѣ безсонной ночи, даже неумывшись, Нарѣзовъ прямо отправился на урокъ.

Размахивая руками, шелъ онъ по улицамъ и вслухъ разсуждалъ съ собой, изумляя и страша прохожихъ.

Трое попавшихся ему навстрѣчу мастеровыхъ захохотали, а нарядная дама, съ большимъ желтымъ цвѣткомъ на шляпкѣ, остановилась и сказала:

— Бѣдный! Вотъ бѣдный!..

Но ничего не слышалъ Нарѣзовъ. Когда онъ пришелъ на урокъ, видъ его былъ такъ необыченъ съ побѣлѣвшимъ лицомъ, которое теперь стало еще длиннѣй, что мальчикъ, его ученикъ, только поглядѣлъ на него исподлобья и даже не рѣшился спросить,—холодно ли,—что онъ дѣлалъ всегда.

Въ кабинетѣ полковника, гдѣ они занимались, по случаю Страстной недѣли горѣла лампадка, и во всемъ домѣ было какъ-то особенно тихо. Только гдѣ-то сердито ворчала швейная машинка и кто-то игралъ на рояли въ сосѣдней залѣ, и въ той мелодіи слышались

три голоса: одинъ высокій, звонкій и тоненькій о чемъ-то, подѣтски довѣрчиво, спрашивалъ, и ему недовольно звучали въ отвѣтъ два сердитыхъ и увѣренныхъ.

Мальчикъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и приготовлялся къ диктанту, а Нарѣзовъ, помѣстившись на диванѣ стоявшемъ сзади, — у противоположной стѣны,—вертѣлъ револьверъ, снятый съ гвоздя, и, раскрывъ хрестоматію, собирался диктовать.

„Жилъ-былъ на свѣтѣ... человѣкъ"... началъ Нарѣзовъ.

Мальчикъ написалъ и хотѣлъ уже повернуть голову, чтобъ сказать свое обычное: „ну", которое означало, что онъ написалъ, и диктовать можно дальше.

Но въ эту минуту раздался выстрѣлъ, нежданный, быстрый и глухой, словно звукъ его прилетѣлъ сюда впопыхахъ, и по дорогѣ свалилъ что-то тяжелое.

Ничкомъ лежалъ на диванѣ Нарѣзовъ, склонивъ тѣло подъ прямымъ угломъ къ ногамъ, и изъ виска легко и скоро бѣжала кровь на сѣрую обивку, оставляя неправильныя и изломанныя линіи,—какими рисуютъ на картахъ рѣки.

И вслѣдъ за раздавшимся выстрѣломъ затихла рояль и смолкла, какъ собака ворчавшая, машинка.

А мальчикъ плакалъ и, вытирая слезы, говорилъ всѣмъ:

— Папа не позволялъ брать. Я ему говорилъ...

И среди суетившихся людей, при всхлипываніяхъ плачущаго мальчика, лежалъ холодѣющій Нарѣзовъ.

А красный глазокъ лампадки смотрѣлъ такъ робко и мигалъ такъ пристыженно и часто, словно онъ одинъ виноватъ былъ во всемъ происшедшемъ и собирался расплакаться.

Въ карманѣ жилета Нарѣзова нашли записку, написанную на вырванномъ изъ памятной книжки крошечномъ листикѣ, заключавшую въ себѣ всего двѣ фразы и удивившую всѣхъ своимъ содержаніемъ.

Въ ней стояло:

„Въ семнадцатомъ стихѣ пятнадцатой главы книги „Іисуса сына Сирахова сказано: „Предъ человѣкомъ „жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дастся „ему“.

„А въ третьемъ стихѣ сорокъ первой главы:

„О, смерть, отраденъ твой приговоръ для человѣка, „нуждающагося и изнемогающаго въ силахъ“.

И больше ничего.

Такъ подробно и точно Нарѣзовъ записалъ потому, что считалъ себя и Агѣева единственными людьми, понявшими и проникшими въ скрытый духъ этихъ великихъ словъ...

... Когда матери Нарѣзова сообщили о томъ, какъ и почему ея сынъ кончилъ жизнь, она, сначала не сообразивъ, долго смотрѣла въ одну точку и, наконецъ, сказала:

— Черти!..

Потомъ тяжело повернулась въ креслѣ, пошевелила губами и опять повторила:

— Черти... право, черти....

Мартъ.
1902 г.

Самое сильное.

I.

Оба они, какъ и всѣ здѣсь, въ редакціи, дѣлали видъ, что совершаютъ что-то важное и большое,—ежедневно въ одно и то же время они начинали свой трудъ, также принимали ихъ лица серьезныя выраженія, также долго сначала они искали скрытаго смысла въ этой работѣ, оба не находили и томились.

И съ обоими стряслось несчастье въ одинъ и тотъ же день, на Благовѣщенье.

Сушкинъ, немолодой уже репортеръ, неглупый, но тихій и загнанный, небольшого роста и съ бородой, какъ у Достоевскаго, отправилъ въ этотъ день въ „хроникѣ“ шхуну „Коварный“, которой никогда не было въ порту, на Волгу, куда ни разу не отплывали отсюда шхуны, и за это получилъ очень строгій, длинный и крайне обидный выговоръ отъ редактора.

— Всѣ вы—сочинители, а не репортеры,—кричалъ редакторъ,—и мнѣ, кажется, придется вамъ предложить оставить работу...

Голосъ редактора звучалъ рѣзко и въ немъ явно

слышалась рѣшимость разстаться съ Сушкинымъ. Репортеръ вышелъ изъ кабинета краснымъ, неловко притворилъ дверь, почему-то погладилъ свою бороду и сѣлъ.

У другого,—служителя Петра,—исторія вышла еще печальнѣй и тѣмъ болѣе непоправимой, что была она совершенно необычна.

До сихъ поръ на обязанности Петра лежало полученіе почты. Онъ приносилъ ее, важно проходилъ съ нею мимо комнатъ, гдѣ сидѣли сотрудники, и торжественно клалъ газетную груду и письма на редакторскій столъ.

Ему же поручалась передача въ типографію рукописей и предъ тѣмъ, какъ взять, онъ каждый разъ съ оттѣнкомъ дѣловитости въ голосѣ спрашивалъ:

— Какимъ шрифтомъ?

И хотя на всѣхъ сдаваемыхъ гранкахъ былъ совершенно точно обозначенъ шрифтъ, какимъ слѣдовало набирать, тѣмъ не менѣе сотрудники всегда ему отвѣчали:

— Скажи, чтобъ корпусомъ...

Или:

— Прикажи петитъ...

И улыбались, потому что знали, что Петру весь этотъ процессъ сдачи рукописей доставлялъ огромное удовольствіе. Онъ важно входилъ въ типографію и громко и повелительно говорилъ:

— Эту, вотъ, набрать корпусомъ...

И уходилъ подъ веселый смѣхъ всѣхъ наборщиковъ и метранпажа.

— Слушаемъ-съ, господинъ редакторъ Петръ,—отвѣчали они.

Съ теченіемъ времени, однако, Петру надоѣло и при-

скучило все это однообразное и чисто механическое дѣло. Утромъ—почта, потомъ рукописи, шутки и остроты наборщиковъ, вечеромъ корректурные оттиски и такъ все время, изо дня въ день, въ пятницу, какъ во вторникъ, и въ среду и субботу, какъ въ четвергъ.

И чѣмъ больше проходило дней въ этой однообразной и монотонной работѣ, тѣмъ все острѣй и яснѣй для него становилась вся тоскливая ненужность этого сѣраго въ своей привычности труда и было немного досадно отъ мысли, что все это уже не радуетъ его. А среди общей лихорадки редакціоннаго дѣла, въ этихъ большихъ просторныхъ комнатахъ, гдѣ суетятся одинаково и машины и люди, наборщики и сотрудники, разносчики и вертельщики, одинъ только онъ, спокойно и не торопясь, одинаково каждый день, встаетъ и ходитъ за почтой, приноситъ и уноситъ, и никто въ цѣломъ мірѣ не знаетъ, что есть въ редакціи „Южной Жизни" какой-то маленькій разсыльный Петръ.

Больше всего онъ чувствовалъ себя обиженнымъ каждый годъ въ большіе праздники.

Новый годъ встрѣчала редакція вся вмѣстѣ и въ этотъ вечеръ никто не считался ни со своимъ значеньемъ, ни своими способностями и ролью, и наборщики, какъ и вертельщики, чокались съ редакторомъ и сотрудниками, всѣ говорили рѣчи, было весело и просто, и только одинъ Петръ не могъ принимать никакого участія, какъ будто его совсѣмъ и не существовало въ редакціи.

Въ немъ проснулось совершенно новое, дотолѣ незнакомое ему чувство честолюбія.

И теперь, когда онъ встрѣчался въ праздники со своими товарищами,—матросомъ Корюхинымъ и банковскимъ разсыльнымъ Фюшкинымъ,—выпивая въ трак-

тирѣ „Пріютъ“,—послѣ четвертой рюмки въ немъ вдругъ вставало упрямое и страстное желаніе хвастать.

— Да ты знаешь-ли,—говорилъ онъ, обращаясь къ Корюхину, — ты знаешь-ли, съ кѣмъ ты говоришь, отродье ты водяное...

И видя, что Корюхинъ удивленно вскидываетъ на него свои большіе черные, немного тупые глаза, онъ продолжалъ:

— Вѣдь, ты съ кѣмъ пьешь! Съ самимъ секретаремъ редакціи... Ты понимаешь это? Вѣдь, если я захочу, я тебя въ любой моментъ пропечатать въ газетѣ могу... когда захочу... За милую душу пропечатаю... Понялъ?

Но такъ какъ озадаченный Корюхинъ смотрѣлъ на него попрежнему недоумѣнно, то Петръ входилъ ужъ въ настоящій ражъ.

— Такъ и пропечатаю: „насъ, молъ, просятъ обратить вниманіе кого слѣдуетъ, что матросъ Корюхинъ нарѣзывается, какъ стелька, въ трактирѣ „Пріютъ“... Что?

Онъ съ минуту побѣдоносно смотрѣлъ на Корюхина и наконецъ спрашивалъ:

— Что же, по твоему, за это тебя командиръ хвалить долженъ? Скажетъ: „пей, пей, Корюхинъ!..“ Какъ же!.. Вышибутъ тебя, братъ, въ три шеи—и весь сказъ...

— Ты, мобыть, опроверженіе?!—не безъ надменности обращался онъ, поднимая голосъ, къ Корюхину, хотя тотъ не только не возражалъ, но даже не понималъ, за что и чѣмъ ему вдругъ сталъ грозить Петръ.

— Ты, мобыть, опроверженіе, пьяная твоя рожа!.. Да я тебя на порогъ не пущу съ этимъ самымъ твоимъ опроверженіемъ... Ишь ты, что вздумалъ!.. Ему опроверженіе?!

И прищуря лѣвый глазъ, онъ обыкновенно недовольнымъ тономъ замѣчалъ:

— Мало васъ шляется съ этимъ самымъ опроверженіемъ?.. Что же, и всякаго печатать, значитъ? Такъ, что-ли, по твоему?—кричалъ онъ.

25 марта, на Благовѣщенье, они выпили больше обыкновеннаго и Петру захотѣлось показать передъ другомъ всю свою силу и вѣсъ въ газетѣ.

Въ редакціи, по случаю праздника, не было никого, почта лежала нераспечатанной и Петръ сталъ вскрывать тѣ пакеты, которые были потяжелѣй.

Онъ уже зналъ, что въ такихъ бандероляхъ приходятъ рукописи отъ иногороднихъ сотрудниковъ. И, вскрывая, онъ быстро, съ серьезнымъ видомъ проглядывалъ статьи и клалъ свои резолюціи, какъ это дѣлалъ всегда редакторъ.

— Не годится,—важно замѣтилъ онъ, перелистывая присланную передовицу о послѣднемъ министерскомъ циркулярѣ.

Онъ вздохнулъ и прибавилъ:

— Велика...

Другую, о торговлѣ съ Персіей, Петръ забраковалъ также.

— Прошелъ интересъ,—задумчиво сказалъ онъ, разведя руками, и сокрушенно пожалъ плечомъ.

На той и на другой, явно пренебрегая орѳографіей, онъ вывелъ кривыми буквами: „Ваша рукопись не принята. Редакторъ Петръ“. И обратившись къ сидѣвшему напротивъ и икавшему Корюхину, пояснилъ:

— Вотъ что значитъ быть редакторомъ...

Онъ поднялъ голову, вызывающе взглянулъ на матроса и скося глаза на рукописи, проговорилъ:

— Теперь „ау“, голубчики... Въ другой разъ будете хорошо писать...

И совершенно неожиданно прибавилъ:

— А и трудное это, братъ, дѣло, должно...

Онъ запечаталъ рукописи въ конторскіе конверты и, прочтя на бандероли адресъ сотрудниковъ, надписалъ.

— Смотри же,—закончилъ онъ наставительно Корюхину,—какъ бы часомъ и тебѣ въ печать не попасть.

Статья о министерскомъ циркулярѣ была отъ только что приглашеннаго петербургскаго сотрудника и редакторъ вскорѣ получилъ отъ него письмо, къ которому онъ прилагалъ свою рукопись съ необычной резолюціей „редактора Петра“.

Сначала рѣшили Петра выгнать совсѣмъ, но потомъ смиловались и для него была создана теперь синекура: съ Благовѣщенья его обязанность состояла въ подаваніи сотрудникамъ чая въ редакціонные часы.

II.

Городъ, гдѣ издавалась „Южная Жизнь“ былъ большой, богатый, но неуклюжій; дымный отъ множества фабрикъ и омывался моремъ.

Море было зеленое.

Только изрѣдка, когда за дали горъ западало солнце и освѣщало песчаный островъ,—и онъ, и все море становились вдругъ розовыми. Отъ этого паруса на судахъ казались пурпурными, легкими и воздушными, а вся линія низкаго берега, потонувшая въ предзакатныхъ лучахъ, терялась въ лиловомъ вечернемъ туманѣ и кругомъ все огромное пространство окрасившейся воды

и земли представлялось какой-то заповѣдно-сказочной страной сладкаго счастья.

На противоположной сторонѣ, на темной крутизнѣ песчанаго утеса, какъ часовой, стоялъ большой печальный домъ, трехэтажный и бѣлый, и въ немъ помѣщалась редакція.

Въ часы грозъ низко нависали надъ нимъ черно-лиловыя, въ бронзу оправленныя тучи, тушили на мигъ его бѣлый цвѣтъ и подъ тяжестью ихъ вдругъ сгибалась безсильно громада, и кругомъ была тишина, насторожившаяся, трепетная и тяжелая.

Но разражалась гроза, золотыя и длинныя, острыя стрѣлы молніи дерзко пронизывали хмурое небо и весь бѣлый домъ на мгновенье становился серебрянымъ, какъ отъ свѣта магніи, потомъ снова тухъ и темнѣлъ. И черныя окна во всѣхъ этажахъ смотрѣли задумчиво, были безмолвны и странны и походили на какія-то темнѣющія глазныя впадины громаднаго черепа.

Тамъ, внутри, цѣлый день и всю ночь гремѣли машины и ровенъ и глухъ былъ ихъ сердито-упорный, ревущій шумъ.

И отъ этого шума, отъ бѣготни, вѣчной сутолоки и поминутнаго стука отворявшихся и затворявшихся дверей душу каждаго охватывало безпокойство и тревожная тоска змѣей входила въ сердце. У всѣхъ сидѣвшихъ здѣсь и работавшихъ, приходившихъ для переговоровъ и даже у сторожей и почтальоновъ было такое чувство, какое бываетъ предъ самымъ отходомъ поѣзда на вокзалѣ.

Обыкновенно редакціонный день начинался въ двѣнадцать часовъ.

Въ это время приходили сотрудники,—толстый и маленькій фельетонистъ Сѣровъ, худощавый „передовикъ“,

по фамиліи Мысъ, и Казанскій. Началъ писать Казанскій недавно, статьи его были слабы и безцвѣтны, попалъ онъ въ редакцію случайно и дѣлалъ, что придется,— иногда корректировалъ, иногда писалъ отчеты, а когда самъ редакторъ,—полный. съ краснымъ лицомъ и щетинистой рыжеватой головой человѣкъ,—не могъ ѣхать къ цензору, то и туда посылали Казанскаго.

Репортеровъ было четверо и зарабатывали они въ мѣсяцъ по ста слишкомъ рублей, кромѣ одного Сушкина, въ вѣдѣніи котораго находились пристани. Писать о несчастныхъ случаяхъ съ грузчиками-рабочими не допускала мѣстная цензура и „морской отдѣлъ“ газеты ограничивался свѣдѣніями о прибытіи и отбытіи шхунъ и доходъ Сушкина поэтому никогда не превышалъ пятидесяти рублей.

Сушкинъ былъ старше всѣхъ другихъ сотрудниковъ, говорить много не любилъ и не умѣлъ и въ редакціи ни съ кѣмъ не сближался. Онъ былъ не прочь выпить,—говорили даже, что втихомолку, по вечерамъ, онъ напивался дома пьянымъ,— но съ товарищами по газетѣ ни разу еще не зашелъ ни въ театръ, ни въ ресторанъ, и внѣ редакціи встрѣчался съ ними только разъ въ годъ. Это случалось двадцать восьмого ноября;— день выхода перваго номера газеты. Ежегодно въ этотъ день вся редакція въ полномъ составѣ собиралась въ ресторанѣ „Палэ-Рояль“.

Девятый годъ работалъ Сушкинъ въ „Южной Жизни“, но никогда никто не обращалъ на него вниманія и почти не говорилъ съ нимъ, кромѣ редактора, которому сдавалъ онъ свои „свѣдѣнія“.

Приходившіе сотрудники шутили, сообщали шопотомъ какія-то таинственныя новости, имѣли общихъ знакомыхъ и только Сушкина никуда не приглашали,

не звали и никто здѣсь не вводилъ его въ кругъ своихъ интересовъ, заботъ, радостей и печалей.

И Сушкина удивляла горячность, съ которой сотрудники спорили и говорили, по его мнѣнію, о самыхъ ничтожныхъ и пустыхъ вещахъ, или сообщали другъ другу, какъ что-то очень важное, о послѣдней городской сплетнѣ.

Все, что было вокругъ него,—эти споры, новости, недочеты корректуры, цензурныя непріятности и тиражъ,—все, чѣмъ жила и волновалась редакція,—мимо Сушкина проходило незамѣтно, ничѣмъ его не задѣвая, не тревожа и не радуя. И отъ этого онъ чувствовалъ себя здѣсь лишнимъ, какимъ-то ненужнымъ, привязавшейся собакой, которую не гонятъ изъ милости, и часто думалъ о томъ, что безъ всякаго ущерба для газеты его могутъ уволить и становилось жутко и страшно на старой душѣ.

Обычно сидѣлъ Сушкинъ у крайняго стола въ углу и медленно выводилъ крупными буквами незначительныя замѣтки о томъ, что „отправилась шхуна такая-то, груженная сахаромъ“, или о грубомъ обращеніи съ пассажирами пароходной прислуги.

Губы его при этомъ шевелились и что-то шептали, будто сама рука всегда нуждалась въ непремѣнномъ подсказѣ. Предъ тѣмъ, какъ начать, онъ долго смотрѣлъ на перо, пробовалъ его на бумагѣ и прежде всего писалъ неизмѣнно одну и ту же фразу: „Перо хорошее. Пишетъ хорошо“. Все, съ виду, въ немъ было пришиблено, убито и отравлено, и только внутри тлѣли, разгорались и бились какіе-то жадные и временами горячіе огни недовольства и исканій.

Такъ наглухо затворенные отъ всѣхъ, нелюбопыт-

ные и малопонятные для другихъ, шли дни его терпкой репортерской жизни.

Еще за годъ до вступленія Сушкина въ „Южную Жизнь“ его бросила жена и съ тѣхъ поръ какъ-то сразу измѣнилось въ немъ все и сталъ онъ маленькимъ, старымъ и грустнымъ.

Жилъ онъ въ убогой комнаткѣ, у какой-то вдовы, въ глухомъ переулкѣ. И когда темнѣлъ день и переходилъ въ усталый вечеръ, умиралъ весь переулокъ и только блѣдные и зябкіе—дрожащіе—огни въ узкихъ окнахъ пугливо и слабо говорили о чьей-то безсмысленно прожитой молодости, обиженной и нищей, и о томъ, что здѣсь, за этими стеклами бѣдныхъ оконъ,—такіе же люди, какъ вездѣ, что у нихъ такіе же протесты, тѣ же муки, и слезы и боль.

Тихо было кругомъ около осѣвшаго домика, сѣраго и вымершаго, гдѣ жилъ старый репортеръ, и какой-то серьезной печалью вѣяло отъ его сѣрыхъ стѣнъ, скосившихся угловъ и зазеленѣвшейся крыши.

Когда топили печки, и изъ робкой трубы нехотя шелъ усталый дымъ, почему-то думалось о лѣни, о равнодушіи и общей ненужности. Внутри дома пахло сыростью, мокрымъ бѣльемъ и щами.

По вечерамъ становилось особенно тоскливо и тогда репортеръ одѣвался и уходилъ.

Всегда въ одномъ и томъ же мѣстѣ переулка, на его концѣ, въ сердце Сушкина входила новая щемящая волна грусти и была она въ одно и то же время радостна и странно мучительна.

На этомъ углу переулка стоялъ одноэтажный домъ,—покрасивѣй и поновѣй остальныхъ, выкрашенный въ нѣжную голубую краску. Окна въ немъ были большія и свѣтлыя и въ одномъ изъ нихъ каждый вечеръ Суш-

кинъ видѣлъ на столѣ кипящій самоваръ и вокругъ него людей. И эти люди, трое мужчинъ и женщина, о чемъ-то бесѣдовали, на лицахъ ихъ играла — сбѣгала и набѣгала—добрая улыбка и слова, которыя они произносили, казались неторопливыми и спокойными и на душѣ Сушкина становилось отъ этого сначала легко и радостно, а потомъ обидно, темно и горько.

Веселѣй же и ласковѣй всего была лампа, большая, въ красномъ шелковомъ абажурѣ. Глядя на нее, невольно думалось, что вся милая тишина этой комнаты, и ясный покой бесѣдъ и ихъ скрытая горячая душа невидимо и тайно спрятаны въ этомъ тепломъ и тонкомъ полупрозрачномъ шелкѣ краснаго абажура.

И почему-то всегда на этомъ мѣстѣ Сушкину вспоминалась его жена.

III.

Весь послѣдній годъ, начиная еще съ прошлой осени, Сушкинъ чувствовалъ себя худо.

У него часто стала появляться слабость, ломило спину и сталъ безпокоенъ сонъ.

Теперь, — если приходилось торопиться за свѣдѣніями—остановить одышку потомъ не удавалось иногда въ теченіе цѣлаго часа.

Въ этомъ году зима была гнилая, а весна слезливая, а когда сходилъ снѣгъ, подъ ногами у прохожихъ что-то звонко хлюпало, словно чмокало и задыхалось, и въ этихъ смѣшанныхъ звукахъ слышались чьи-то слезы, чье-то горе и боязливое и больное предчувствіе.

Съ Благовѣщенья Сушкину стало еще тяжелѣй и все казалось, что въ этотъ постъ колокола звонятъ какъ-то особенно много и уныло, на страстной недѣлѣ

почему-то нѣтъ обычнаго оживленія, и будто даже въ этомъ году не будетъ и Пасхи.

Всегда раньше, какъ только съ моря мягкій вѣтеръ приносилъ весенніе голоса, и на душѣ у всѣхъ пробуждалось что-то сладкое, томное и теплое, къ Сушкину закрадывалось чувство, похожее на то, какое бываетъ осенью въ опустѣвшихъ аллеяхъ заброшенныхъ парковъ. Тишина, золотые покорные листья, шорохъ... чей-то шопотъ, чья-то тайна...—и отъ всего этого мечтательно-счастливо, ноющая боль грусти и робкія надежды, какъ ласкающія улыбки бѣдныхъ дѣтей...

... Кончилась въ редакціи работа въ страстную пятницу и теперь Сушкинъ не зналъ, куда дѣваться. Редакція опустѣла, была заперта и даже увидѣться было не съ кѣмъ.

Приходилось сидѣть у себя въ полутемной комнатѣ, чувствовать всю ея злую старческую тишину и молчать. Сушкинъ стоялъ у окна и думалъ. Въ самое окно смотрѣлъ сарай, покрытый заново ярко-желтымъ тесомъ и отъ заходящаго солнца горѣла крыша, блестѣлъ стволъ бѣлой березки, на ближней церкви, какъ зажженный, свѣтился крестъ и отъ всего этого сумерки, всегда печальныя, казались сейчасъ золотыми.

— Пойти, развѣ, на море,—размышлялъ Сушкинъ.— Одѣться и пойти...

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ.—„Одѣться и пойти“...—повторилъ онъ, ложась на кровать.

Повернувшись на бокъ, Сушкинъ сосчиталъ: „За семьдесятъ восемь строкъ по три копейки... Два рубля тридцать четыре“. И неизвѣстно откуда и почему у него мелькнуло въ головѣ: „Хорошо бы теперь, на родину, домой, на Донъ... въ степь... Эхъ!..“

Онъ поправилъ подушку, откашлялся, вздохнулъ и

тотчасъ почувствовалъ, что больше всего ему все-таки хочется отдыха.

На слѣдующій день, какъ только проснулся, Сушкинъ вспомнилъ свое вчерашнее рѣшеніе.

— Одѣться и на море...

Солнце нѣжило. Его тонкіе и сладостные лучи стелились по небу, играли на паутинѣ хмурыхъ высокихъ угловъ и бросали играющую струю голубого свѣта въ комнату репортера.—Весна волновала и куда-то звала.

И шалило море, томилось и во всемъ своемъ безмѣрно-огромномъ величіи было одно движеніе.

Какъ призывныя объятья, раскрывало оно свои плещущіе валы, серебристо-зеленые,—они ласкались къ баркасамъ, лизали ихъ бока и, какъ любопытные, заглядывали внутрь черезъ бортъ. Но вдругъ обрывались, словно уставали и, рѣшивъ, что имъ не угнаться, тяжело вздыхали, падали и уходили опять въ самую глубь зеленой играющей бездны, и тотчасъ на смѣну имъ вырывались другіе и также заглядывали, цѣплялись, обрывались и исчезали.

А баркасъ шелъ.

Какъ распухшіе, распустились розовые и палевые паруса и, казалось, что безпрерывно все время ихъ надувалъ кто-то крѣпкій и смѣлый своей широкой и здоровой грудью.

И покачиваясь, какъ въ колыбели, Сушкинъ чувствовалъ себя ребенкомъ, чистымъ и радующимся. Былъ моментъ, когда ему до восторга захотѣлось подняться на самый верхъ паруса и внизъ головой броситься вплавь на открытую борьбу съ моремъ, обгоняя баркасъ.

А море пѣло и въ этихъ пѣсняхъ взывала къ небу морская глубь.

Что-то свободное, какъ огромная сила, гордое, какъ любовь, и,—какъ власть,—державное, въ мѣрно шумящей музыкѣ волнъ вторило смѣлымъ ударамъ веселъ.

Она звала,—эта сила. Она манила, эта любовь. Рвала грудь и томила, и такъ влекла мечту, что тѣсно становилось въ груди бѣднаго и печальнаго человѣка.

Казалось, что всѣ слезы, скопленныя за эту старую и темную жизнь, хотѣли вырваться наружу, и смѣшавшись съ волнами, влить въ ихъ мощный и радостный голосъ ноты человѣческой боли и глухой схороненной тоски.

И все кругомъ было такъ полно, такъ страстно, дышало такой горячей и красивой жизнью, такъ явно и искренно сулило покой вѣчности и избавленіе отъ тяготъ земли, что оставаться жить на ней было трудно, тяжко и страшно, и, вся загорѣвшаяся, полная смѣшанныхъ волнъ и напѣвовъ, плакала душа репортера...

... Совсѣмъ еще свѣтло было, когда вышелъ Сушкинъ на берегъ.

— Господи, какъ долго еще до розговѣнья...

Оставшаяся съ самаго дѣтства привычка проводить въ семьѣ этотъ день и особенно вечеръ какъ-то жалостно напомнила о себѣ и заставила Сушкина еще разъ задуматься.

Ужъ много послѣднихъ лѣтъ каждый разъ въ эту великую субботу приходили къ нему одни и тѣ же раздумья, ни на чемъ не останавливались и уплывали, цѣпляясь за новые факты. И все такимъ же неразрѣшаемымъ стоялъ вопросъ: „какъ и гдѣ встрѣтить праздникъ?“

— Странно,—говорилъ себѣ Сушкинъ. -Ничѣмъ, въ сущности, не отличается ни эта недѣля, ни этотъ день и все-таки каждый годъ ждешь отъ нихъ чего-то луч-

шаго... Умерла наивная вѣра, больше не трепещешь святой радостью при торжественно-побѣдномъ гимнѣ „Христосъ Воскресъ“, не представляешь себѣ даже этого воскресенья и давно забыты наивно простыя страницы новаго завѣта... А жажда просвѣтленія и надежда на него попрежнему безсознательно встаютъ въ груди и волнуютъ...

Никогда еще съ такой опредѣленной внутренней ясностью не представлялъ себѣ Сушкинъ всей безвыходности своего положенія въ этой безрадостной и злой жизни, такъ до ощутительности конкретно воплотившейся сейчасъ предъ нимъ въ рыжей, упрямой и крѣпкой головѣ редактора.

Ему вспомнились всѣ обиды, тѣ угрозы, которыя молча онъ долженъ былъ выслушивать, и трепетъ и трусливая дрожь, переживаемые имъ всякій разъ, когда изъ кабинета раздавалось это холодно-департаментское и крикливое:

— Сушкинъ!..

Прошли предъ нимъ годы этого суетливаго труда, безъ удовлетворенія и радости, безъ волненій и мукъ слова и творчества.

Были за все время три-четыре попытки написать статью, или фельетонъ, излиться со всѣмъ пламенемъ до дна изболѣвшихся силъ сердца, согрѣться на огнѣ этихъ вспыхивающихъ, протестующихъ фразъ и свободной мысли, одѣвающейся въ любой костюмъ, а не въ поношенный,—въ казенной формѣ зауряднаго репортажа.

Ничего не вышло изъ этого.

Въ „Южной Жизни“ главное—бюджетъ и редакторъ ничего не возьметъ за плату, кромѣ хроники, потому что у него для протестующихъ фразъ и свободной

мысли, для вспыхивающихъ силъ есть другіе, которымъ за это платятъ жалованье...

Потомъ и попытокъ уже не было.

И если бъ сейчасъ ему предложили написать эти сочныя, бьющіяся въ своей нервной страсти строки, онъ съ болью, съ плачемъ, со слезами принужденъ былъ бы отказаться, ибо ничего не осталось больше, кромѣ шхуны, нагруженной сахаромъ.

— Надо быть очень большимъ трусомъ,—ропталъ на себя Сушкинъ,—чтобы не бросить все и не уйти. Во сто, въ тысячу, въ милліонъ разъ хуже и тяжелѣй эта медленная пытка ожиданія той минуты, когда, наконецъ, прямо и не обинуясь признаютъ твою полную ненужность и укажутъ на дверь...

Онъ усмѣхнулся злой и странной, больной улыбкой умирающаго.

— Дверь, за порогомъ которой... „широкій“, „свѣтлый“ міръ божій... И чего я жду?.. Въ чемъ тайна этой кошачьей, рабской привязанности къ одному мѣсту... да и вообще ко всему, этой жизнью созданному?..

— Сила привычки,— отвѣтилъ онъ на свой собственный вопросъ.—Только въ ней, въ этой подлой и цѣпкой власти привычки, вся тайна жизни и весь секретъ ея странной устойчивости. То, что я сегодня жду вечера, который будетъ такъ же печаленъ, какъ былъ вчерашній, какъ прошлогодній, какъ всѣ другіе,—только глупая привычка ждать, не зная даже — чего именно. Все — привычка. По привычкѣ только даже самые набожные изъ насъ молятся утромъ и вечеромъ. Всѣ наши обряды и формы, такъ искусно затемняющіе настоящій смыслъ и значеніе тысячи жизненныхъ актовъ — только традиція, т. е. опять же привычка. По привычкѣ мы рабствуемъ и по ней же идолопоклон-

ствуемъ и чтимъ отжившее, нелѣпое и явно глупое. И если мы надѣемся на такъ называемое молодое поколѣніе, то потому, что у него нѣтъ еще привычки къ старымъ и надоѣвшимъ формамъ. Словомъ, поразмысливъ глубже, трудно не узнать въ каждомъ нашемъ шагѣ и поступкѣ влекущую деспотическую власть привычки, и не увидѣть, что и вся наша жизнь—всего на всего одна маленькая привычка, одинъ навыкъ. И чѣмъ глубже эта сила захватитъ въ своихъ правахъ, тѣмъ меньше будетъ надеждъ...

Мысль Сушкина будто ударилась о стѣну и какой-то тихій, глухой и осторожный, но ясный спросилъ его откуда-то изнутри:

— Надеждъ на что?

Но уже отвѣтъ былъ готовъ и, не колеблясь, его выговорилъ рѣшившійся человѣкъ:

— На исцѣленіе. На освобожденіе. На о-сво-бож-де-ні-е...—упрямо и дерзко повторилъ человѣкъ.

И сказалъ тогда ясный:

— Вѣришь?

— Вѣрю,—сказалъ человѣкъ.—И какъ же не вѣрить? Не юноша я и вижу и понимаю. Развѣ не ясно что огромное большинство среди насъ движется, продается и живетъ, проклиная эту жизнь и съ проклятьемъ на нее работая, исключительно изъ-за одного процесса этой же самой жизни...

Мимо Сушкина пронеслась коляска.

— Ну, вотъ. Это мѣстнаго богача Гулльяна. Вся разница между нимъ и мной та, что онъ спокоенъ, а я—нѣтъ. Спокоенъ же онъ потому, что ему не зачѣмъ искать и уже есть крѣпкія привычки къ хорошей жизни, я же не могу и никогда не привыкну къ жизни дурной и полуголодной, унизительной и наполненной

трудомъ и страхомъ. Усилія лучшихъ умовъ и искреннѣйшихъ сердецъ разбиваются, какъ вода о камень, и мало результатны отъ того, что имъ приходится бороться все съ той же позорно-крѣпкой силой вѣковыхъ, или долголѣтнихъ привычекъ...

— Стоитъ только порвать и подавить наши привычки, чтобъ жизнь перестала имѣть какую бы то ни было цѣнность. Жить — это значитъ,—встать тогда-то, видѣться съ такими-то, ѣсть то-то, читать на такомъ-то языкѣ и любить эту, или ту женщину. И если отъ этого отказаться, можно легко перерѣзать и самую нить всей жизни... И аскеты правы.

Но опять смущающій и осторожный спросилъ:

— А дышать? А видѣть солнце? Слышать голоса и музыку, любоваться моремъ и жаждать и желать бороться съ нимъ, какъ самъ ты жаждалъ и хотѣлъ этого нѣсколько часовъ тому назадъ?

— Нѣтъ,—запротестовалъ человѣкъ,—нѣтъ! Ложь и вздоръ! Ибо и любовь, и свѣтъ и море, и музыка только ложь, дразнящая и нужная для Гулльяновъ... Нѣтъ!.. Порвать легко и нужно рвать! И все это будто бы трагическое разставанье съ жизнью, о которомъ такъ таинственно-печально говорятъ проповѣдники, и которое въ скорбныхъ тонахъ величаво оплакиваютъ и воспѣваютъ псалмы и поэты, проще, логичнѣй и радостнѣй этого мрака и неотертыхъ соленыхъ слезъ и никогда не сбывающихся надеждъ, что зовется человѣческой жизнью...

IV.

Никогда еще, послѣ нѣмыхъ пѣсенъ моря, не чувствовалъ себя Сушкинъ такъ враждебно возбужден-

нымъ противъ горечи унизительнаго существованія, какъ сейчасъ, и никогда не звала его душа съ такой конвульсивной страстностью другой души, какъ исцѣленія отъ мрака могильнаго одиночества и тягости невольнаго молчанія тюремщика, на которое его обрекли недовѣріе и бѣдность.

У Сушкина было особенное пристрастіе, говоря вслухъ, или отдавая самому себѣ отчетъ въ чемъ-нибудь, всегда выражаться въ безличной формѣ.

Вспоминалъ-ли онъ о женѣ и неудавшейся семейной связи, онъ формулировалъ причину однословно:

— Не сложилось...

Не было „свѣдѣній“ для хроники, онъ относилъ это къ тому, что „не случилось“. Счастье ушло и прожита жизнь,—что дѣлать,—„не удалось“...

И долгіе годы въ этомъ таинственномъ, безличномъ среднемъ родѣ прошедшаго времени онъ находилъ всеутѣшающее и объясняющее начало своихъ печалей, неудачъ, драмъ и терпѣнья.

Быть можетъ, въ первый разъ теперь онъ призывалъ къ отвѣту, строгому и точному, свою израненную совѣсть и свой болѣющій, разгоряченный мозгъ.

Отъ этого дознающаго опроса внутри Сушкина все вдругъ натянулось и подалось впередъ, будто заглядывая за какую-то заповѣдную грань, которую, молча, провелъ онъ разъ навсегда для своихъ пытаній.

Солнце тухло. Упали тѣни и смягчили колючую остроту свою углы и шпицы.

Все стало мертвеннѣй и уставшій въ праздничныхъ хлопотахъ городъ утихалъ и безмолвствовалъ.

Пробило девять, когда Сушкинъ позвонилъ у дверей редакціи въ надеждѣ хотя тамъ увидѣть знакомое лицо человѣческое и услышать одинъ знакомый голосъ.

Дверь отперъ Петръ и лицо его было какое-то особенно постное.

— Что, Петръ, скучно?.. проходя въ комнату сотрудниковъ, спросилъ задумчиво Сушкинъ.

— Скучно, Антонъ Ивановичъ... Да и вамъ, поди, тоже невесело...

Сушкинъ вздохнулъ:

— Такъ-таки никто и не заходилъ весь день?..

— Никто... Кто-жъ пойдетъ сюда въ этакій день.

— Правда твоя...

Онъ взглянулъ на каменный сводчатый потолокъ и подумалъ:

— Какъ въ казематахъ, или... склепахъ...

— Вотъ что,—пройдясь раза два по комнатѣ, обратился онъ къ Петру, прислонившемуся къ косяку двери.—Вотъ что... На тебѣ три рубля и сходи... за водкой и пивомъ. Прихвати и закуски... Я не обѣдалъ еще...

Сѣлъ Сушкинъ, сѣлъ и Петръ.

— Пить надо вдвоемъ въ такой праздникъ...

Они выпили.

Петру было также скучно, какъ и репортеру и онъ жаловался, что ему тѣсно и тяжко въ этомъ городѣ, гдѣ много продажныхъ женщинъ, которыхъ онъ назвалъ грубымъ словомъ, рѣзнувшемъ Сушкина, какъ ножомъ; гдѣ нѣтъ настоящей работы и дышать приходится не воздухомъ, а дымомъ фабрикъ, нѣтъ зелени и простора.

— Это у тебя мускулы скучаютъ,—замѣтилъ Сушкинъ, медленно жуя хлѣбъ.

— Пожалуй, оно и такъ, Антонъ Ивановичъ. Только я вамъ скажу, и обидно здѣсь очень. Ну, что это, на самомъ дѣлѣ. Здоровъ я, какъ быкъ, двухъ на лѣвую

руку убиралъ въ деревнѣ, а тутъ,—смѣхъ сказать: разноси чай и молчи! Не спишь до свѣту съ корректурой, на ногахъ весь день, устаешь, какъ собака, а кто спроситъ: „съ чего?“ — надо отвѣчать: „это—отъ чаю!“ „Съ какого-такого чаю?“ „А который разносишь“... Срамота... И всякъ на тебя смотритъ, вродѣ какъ на комнатную собачку,..

— Это ты хорошо сказалъ,—замѣтилъ Сушкинъ.— Да... Не нуженъ ты!.. въ этомъ все дѣло... А когда человѣкъ жизни не нуженъ, ему обидно.

— Видишь-ли,—заговорилъ, оживляясь, Сушкинъ,— видишь-ли: жизнь, это такая важная и возмнившая о себѣ госпожа, что ей и услужить будто гордо и пріятно... Но это только когда она тебя къ себѣ не подпускаетъ... Кажется тогда, что ей и подать и принять лестно. А все дѣло, братецъ мой, въ томъ, что подавать-то ей совсѣмъ нелестно и даже очень противно. А мы съ тобой ей все-таки не нужны... —быстро и рѣшительно закончилъ Сушкинъ.—Ни я, ни ты...

Петръ внимательно взглянулъ на Сушкина и по глазамъ его было видно, что онъ искренно удивленъ.

Онъ думалъ, что и всѣ репортеры, и полный фельетонистъ и сухощавый Мысъ и даже Казанскій, всѣ, кто ни сидѣлъ въ редакціи, были нужны и ей, и жизни, что они любили и эту редакцію, и эту жизнь, и свое дѣло, увлекались имъ, были довольны и много зарабатывали.

И теперь, все больше изумляясь, онъ съ неподдѣльнымъ недоумѣніемъ и почти страхомъ переспросилъ:

— Неужли-жъ и вы не нужны?

Сушкинъ какъ-то недобро усмѣхнулся и горькимъ шопотомъ бросилъ:

— И я, братъ. Я—въ особенности.

И видя, что Петръ все еще его не понимаетъ, онъ пояснилъ:

— У тебя, напримѣръ, есть деревня... и все такое. Ты можешь бросить эту редакцію, пойти работать и будешь кому-то нуженъ, чему-то полезенъ... Ну, а я—дѣло другое...

Онъ вздохнулъ.

— Мнѣ—пути заказаны... У тебя и лошаденка, поди, есть, и корова, и хозяйство... и все такое...

Отъ непривычки говорить вообще, а на такія темы особенно, Сушкинъ тянулъ слова и уже нѣсколько разъ неумѣстно прибавлялъ: „и все такое".

— Ты—помѣщикъ, богачъ. А я—ноль... Ноль, голубушка... Старый горбъ у меня и ничего больше!

Поглаживая ладонь о ладонь, медленно и съ раздумьемъ Сушкинъ говорилъ о томъ, что вся его жизнь—ложь и тунеядство, одна малодушная уступка животному страху голода и смерти. Они выпили еще по рюмкѣ и водка присѣла ко дну.

— Да, братъ, много я узловъ навязалъ въ своей жизни... Охъ, какъ много... Всю ее опуталъ по ногамъ и рукамъ и сижу сейчасъ, какъ кандальный...

Давно не разговаривалъ такъ Сушкинъ и ни передъ кѣмъ никогда не раскрывалъ такъ полно и правдиво всего, что мучило и давило его слабое сердце.

Желтые зрачки его помутнѣвшихъ глазъ смотрѣли внушительно и неподвижно, будто никогда не моргалъ этотъ человѣкъ и былъ занятъ однимъ обсужденіемъ какой-то несоразмѣрно сложной думы, важной, загадочной и самой таинственной, какая только могла войти въ голову человѣка.

Все больше оживлялся Петръ и все угрюмѣй становился репортеръ Сушкинъ.

— Подумаешь,—вызывающе-громко говорилъ Петръ, какое счастье таскать эту дурацкую почту. Да ну ее къ лѣшему... Чортъ съ ей и съ редакціей!.. Больно нужно...

Онъ подошелъ къ своему деревянному сундучку, синему, окованному желѣзомъ, ударилъ по его крышкѣ и крикнулъ:

— Вотъ: возьму его на плечи и айда... Въ Симбирскую... нашу... То-то хорошо будетъ... Э-э-эхъ!..—радостно вырвалось у него.

— Давно бы такъ.

— Пойдемъ, Антонъ Ивановичъ, вмѣстяхъ... А? Пойдемъ, родной,—вдругъ съ теплыми нотами въ голосѣ сказалъ Петръ.—Вотъ хорошо-то будетъ. Поднимемся по морю. Тамъ пѣшечкомъ. Подойдемъ къ Волгѣ, поѣхали... А тамъ ужъ и недалечка... Пойдемъ, родной... Брось эту чортову канитель,—переходя вдругъ на „ты", просилъ Петръ.

— Да и самъ ты не пойдешь никуда... Не бросишь... Потому человѣку и цѣна, пока онъ при мѣстѣ, такъ сказать, въ кускѣ... А оторвался отъ куска,—сталъ лоскутомъ и нѣтъ тебѣ тогда никакой цѣны... Человѣкъ—дворняга на привязѣ. Цѣпь его и третъ и у мѣста за то держитъ и кормитъ за это. А порвешь ее,—и свободнѣй станетъ, но и растеряннѣй,—не знаешь,—то направо тебѣ, то-ли налѣво, впередъ-ли, или назадъ... Рвать, такъ рвать ужъ все...

Такъ сидѣли эти два человѣка и говорили.

А на улицѣ загудѣли, запѣли, залились молчавшіе колокола и голоса ихъ были такъ радостны,—такіе добрые, любовные и живые, что хотѣлось плакать и любить. Но одинъ изъ нихъ, молодой и звонкій, казалось, тоже плакалъ и тосковалъ въ эту свѣтлую голубую ночь.

Петръ всталъ и растопырилъ широко руки:

— Христосъ Воскресъ!..—съ какой-то смѣлой увѣренностью выговорилъ онъ.—Поцѣлуемся, Антонъ Ивановичъ...

— Во-истину...

Колокольные голоса, сильные, ровные, какъ хоръ крѣпкихъ грудей, поднялись и полетѣли, разсѣкая и будя ночной воздухъ вступающей весны, но было что-то щемящее въ той сложности думъ и ощущеній, встающихъ, поющихъ и угасавшихъ, которыя, какъ плѣненныя птицы, бились въ тревожной душѣ двухъ притихшихъ людей.

Уже пиво подходило къ концу и разсвѣтъ просился въ комнаты.

Его блѣдное и больное лицо, еще не пробудившееся отъ сна, казалось испуганнымъ и отъ этого было кого-то жалко и хотѣлось плакать.

— Ну-съ, прощайте, Антонъ Ивановичъ,—вдругъ поднялся Петръ Помолчалъ, смотря на опущенную голову Сушкина. И еще разъ вопросительнымъ и вмѣстѣ просящимъ тономъ сказалъ:

— Пошли бы.. Эхъ, какъ хорошо!.. Ужъ понадѣйтесь на меня...

— А жизнь... не страшно, развѣ?..

— Жизнь?—внезапно удивился Петръ, будто это слово онъ слышалъ впервые.—Жизнь?

Онъ сложилъ кулакъ и поднялъ его куда-то вверхъ, кому-то грозя.

— Вотъ что такое жизнь!..

И неожиданно прибавилъ:

— И болѣ никакихъ.

Дверь хлопнула, бодрая волна воздуха ворвалась въ комнату и изъ оконъ Сушкинъ видѣлъ, какъ съ сун-

дучкомъ за плечами, широко переставляя палку, уходящій Петръ тяжелыми шагами отмѣривалъ пропадающую дорогу и было что-то зовущее въ этомъ удаляющемся и все уменьшающемся силуэтѣ человѣка...

Успѣло уже растаять и высохнуть и на желтой песчаной дорогѣ появились выбоины.

Въ одномъ мѣстѣ, на скатѣ, обѣ колеи наполнились водой и въ раннемъ предсолнечномъ утрѣ блестѣли, какъ сталь, и были похожи на рельсы.

Неясная боль защемила сердце Сушкина. Разсвѣтъ не разгорался и весь черный, какъ заговорщикъ, стоялъ далекій лѣсъ...

... Тихо стало въ комнатѣ, словно насторожившейся предъ новымъ днемъ. Всходило солнце и по верхамъ оконныхъ нишъ легли розовыя, прозрачныя полосы отъ голубыхъ лучей утра.

И старый человѣкъ, оставленный одинъ, вздохнулъ, Что-то поднялось отъ сердца, подступило къ горлу, мягкія, неудержныя слезы потекли изъ глазъ и рыданья, въ началѣ громкія, то глохли, то повышались и полны были тоской, о несбывшемся и грознымъ ужасомъ могилы.

И только онѣ однѣ, эти слезы, говорили о присутствіи здѣсь живого человѣка, которому страшна смерть и не нужна жизнь.

... А проснувшіеся колокола запѣвали:

— Побѣдимъ... Побѣдимъ! Побѣдимъ... Побѣдимъ!

Іюнь
1903 г.

Оглавление

У Горчевскихъ были гости, и въ кухнѣ пылалъ огонь,—готовили ужинъ. Сама хозяйка, небольшая, кудрявая, съ подстриженными, какъ у мальчика, волосами и розовымъ дѣтскимъ лицомъ, вышла помочь кухаркѣ, задѣла платьемъ за корзину съ углями, досадливо рванула, но конецъ платья не отцѣплялся и она нагнулась, чтобы высвободить его. Потомъ рѣшила переставить корзину, чтобъ не мѣшала, но мѣста кругомъ не было, потому что вездѣ стояли кульки, а рядомъ кипѣлъ самоваръ.

Тогда она подняла корзину, чтобы перенести въ противоположный уголъ, и въ эту минуту почувствовала, что она беременна.

„Не можетъ быть!“ подумала она, но вдругъ смутилась, и, какъ бы извиняясь передъ кухаркой, будто виноватая, неожиданно для самой себя, сказала:

— Ну, ты готовь, а я еще зайду.

И вышла.

Стучало сердце и въ вискахъ, и на лицѣ выступила краска.

— Не можетъ быть! повторила она, подходя къ зер-

калу въ спальнѣ.—Не можетъ быть! Пять лѣтъ не было, и вдругъ теперь... Ужасно!..

Она посмотрѣлась въ зеркало и улыбнулась. Стало радостно и страшно. Горчевская была замужемъ уже пятый годъ за акцизнымъ надзирателемъ, больнымъ и немолодымъ, съ лицомъ желтымъ, какъ лимонъ, покрытымъ крупными веснушчатыми пятнами коричневаго цвѣта. Мужа она не любила, вышла за него, спасаясь отъ мачехи, и когда ей говорили, что у него начинается желтуха, она смѣялась и увѣряла, что онъ переживетъ еще всякаго другого.

Въ городѣ никто не называлъ Горчевскую Александрой Осиповной, а говорили про нее просто „Сашенька", и самой ей „Александра Осиповна" не нравилось.

— Александра Осиповна, объясняла она,—должна быть непремѣнно полной и важной. И у каждой Осиповны голосъ долженъ быть низкій и густой.

„Густой" она произносила басомъ.

— И вообще, прибавляла она,—отечество дѣлаетъ женщину болѣе земной, менѣе нѣжной и непоэтичной...

Сашенька постояла передъ зеркаломъ нѣсколько минутъ, и все время ей въ сердце и на ухо шепталъ чей-то голосъ о томъ, что въ ея беременности нѣтъ ничего удивительнаго, потому что ребенокъ, котораго она теперь носитъ, не отъ мужа, а отъ того, кто былъ ея любовникомъ, кого люди звали судебнымъ слѣдователемъ Зерновымъ, а она—Володей.

У любимыхъ фамилій нѣтъ. И потому, когда при Сашенькѣ произносили это слово, Зерновъ,—она даже не краснѣла и ни на минуту не бывала ни настороженной, ни взволнованной, потому что рѣчь шла о другомъ, одинаковомъ для всѣхъ, а тотъ, кто жилъ въ ея душѣ былъ не Зерновъ и не слѣдователь, а просто дорогой

человѣкъ, существующій только для нея, и только въ ея мечтахъ и въ ея сердцѣ; второго такого же не было на свѣтѣ, и никто не зналъ того единственнаго, который былъ понятенъ и близокъ только одной Сашенькѣ.

— Неужели же отъ него? спросила она себя, удивляясь этому и вѣря.

Вечеръ тянулся, казалось ей, долго, какъ никогда. Сначала играли въ винтъ. Послѣ картъ ужинали. А потомъ всѣ собрались въ гостиную и говорили о рентгеновскихъ лучахъ и о политикѣ; но разговоръ не клеился и было скучно, потому что никто не понималъ ни въ лучахъ, ни въ политикѣ, и скоро всѣ смолкли. Пробило двѣнадцать. Кто-то сказалъ про лампу:

— Коптитъ!

И всѣ задвигали стульями, будто всѣмъ сразу захотѣлось убавить огонь, но не спѣша поднялась сама Александра Осиповна, опустила фитиль и гости стали прощаться.

Первой мыслью, когда она легла въ кровать, было рѣшеніе ничего не говорить мужу.

„Все равно не пойметъ"... думала она. „Володѣ скажу, а ему—нѣтъ".

И про себя, и въ разговорахъ съ Зерновымъ она никогда не называла мужа по имени, а говорила про него „онъ". И въ этомъ лишеніи имени и обезличеніи человѣка было какое-то странное облегченіе отъ того колючаго и тягостнаго, что люди называли голосомъ тоскующей совѣсти, а Зерновъ – непривычкой жить съ чужими женами, а не съ собственными.

На другой день Сашенька сидѣла у окна, смотрѣла на узкую улицу и плакала.

Шелъ снѣгъ крупными хлопьями, будто сверху кто-то бросалъ носовые платки; они летѣли, развертываясь

и уширяясь передъ самымъ окномъ, и неслышно устилали землю.

„Не оцѣнитъ и этотъ, какъ и тотъ“... думала Сашенька. „Всѣ мужчины одинаковы. Беременныхъ не любятъ, а дѣти отнимаютъ красоту и молодость. И онъ уйдетъ и броситъ“...

Черезъ часъ пришелъ Зерновъ. Мужа дома не было, отворила ему дверь сама Сашенька, и Зерновъ, какъ только снялъ перчатки, обнялъ ее и поцѣловалъ.

На мѣховомъ воротникѣ у него брилліантами блестѣли капли растаявшаго снѣга, усыбыли мокрые и Сашенька засмѣялась.

Онъ посмотрѣлъ на нее внимательнымъ взглядомъ и дѣловито сказалъ:

— А сегодня мы плакали...

Сашенька покачала головой, покраснѣла и замялась.

— Пойдемъ въ залу... произнесла она тихо.

Оба сѣли на диванъ.

Сашенька была взволнована, все время молчала, а когда Зерновъ задавалъ ей вопросы, отвѣчала невпопадъ.

И только, идя въ столовую черезъ темную спальню, она остановилась вдругъ, приподнялась и, нагнувъ его голову, быстро, какъ трусъ, скороговоркой шепнула:

— Я въ такомъ... У меня... Я беременна...:

Сразу онъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и уже въ столовой, сидя напротивъ, нѣсколько разъ переспросилъ:

— Итакъ, мы будемъ матерью...

И все время улыбался, а Сашенька чувствовала себя неловко и сконфуженно и отъ этой улыбки и отъ этихъ пристальныхъ взглядовъ.

Она вспомнила свое ночное рѣшеніе—не говорить мужу и сказала:

— Я ему... я никому больше объ этомъ не скажу.

— И мужу?

— И ему.

Онъ удивленно взглянулъ на нее.

— Такъ сказать? спросила Сашенька и подумала: „Господи, неужели и онъ не понимаетъ“!..

Когда Зерновъ уходилъ и они прощались въ передней, Сашенька сложила руки, пальцы въ пальцы, и наивно, смотря исподлобья, но вся радостная и успокоенная, созналась ему:

— А я думала—ты бросишь...

И сама испугалась своихъ словъ. Потомъ минуту подумала и шутя докончила:

— А если бросишь, я и его убью. Отца не будетъ, не надо и его.

Оба засмѣялись. Она чуть-чуть сконфуженно отъ своихъ признаній, онъ—снисходительно, какъ улыбаются старшіе дѣтскимъ глупостямъ и наивности младшихъ.

Сашенька вернулась опять къ окну и сѣла. Снѣгъ все еще падалъ, было темно и луна, тусклая и печальная, словно плачущая, всплыла на небо. При ея свѣтѣ, загадочномъ и немного грустномъ, хлопья уже не казались легкими, а были грузные, какъ камни, и если не было стука при ихъ паденіи, то, вѣрно, потому, что звукъ не проходилъ черезъ двойныя рамы.

И Сашенькѣ было грустно.

„Все смѣется“... думала она... „А кто смѣется, тотъ не чувствуетъ“.

Раздался звонокъ. Пришелъ мужъ.

— Есть чай? спросилъ онъ.

— Я беременна... бросила Сашенька, встала и пошла въ спальню. А тамъ легла лицомъ въ подушку и зарыдала.

— Ничего не понимаю... протянулъ мужъ.— То есть, ровно ничего не понимаю. Хоть убей...

II

Зерновъ не бросилъ.

Гордое и вмѣстѣ теплое чувство,—сознаніе своей силы и своего будущаго отцовства,—согрѣло его отношенія къ женщинѣ, которая носила теперь его ребенка, нѣжными оттѣнками заботливости и новой любви.

Былъ день весны. Зерновъ и Сашенька шли по полотну желѣзной дороги. У станціи стоялъ паровозъ и бѣлый молочный дымъ всплывалъ надъ нимъ и таялъ, будто куда-то прятался.

Обоимъ стало грустно. Сашенька не выдержала и спросила:

— А если Григорій умретъ, ты на мнѣ женишься?

И только сейчасъ, говоря о возможной и втайнѣ желательной смерти человѣка, который считался ея мужемъ, она произнесла его имя. Его хоронили уже въ мечтахъ, и теперь лишать мертваго имени, хотя бы какъ надгробной надписи, было жестоко и ненужно.

— Конечно... тихо отвѣтилъ Зерновъ, но самъ не повѣрилъ этому и повторилъ еще разъ:

— Конечно!

— У него желтуха, разсказывала Сашенька.—Онъ и теперь плохъ и, я знаю, проживетъ не долго.

Но то, что было легко представить себѣ въ воображеніи, теперь, выраженное въ словахъ, звучало грубымъ и злымъ, и, вся вздрогнувъ отъ этого нехорошаго чувства, Сашенька прижалась къ плечу Зернова.

А онъ шелъ рядомъ съ ней, слышалъ нервный трепетъ

ея тѣла и думалъ о томъ, что смерть Горчевскаго будетъ ужасомъ для нихъ обоихъ.

Жениться ему не подъ силу—онъ это зналъ, и никогда не будетъ онъ мужемъ той, которая стала близка ему до брака. И въ тоже время онъ понималъ, что и разстаться съ ней ему и будетъ тягостно до боли и слезъ.

Но до боли же ясно было ему и то, что не для брака и не для дѣтей создана эта розовая и пугливая женщина съ алыми губами. Было что-то загадочное и скрытое въ томъ прошломъ, которое создало въ ней звѣря чувственности, нарядивъ его порывы въ красивыя и какъ будто чужія слова.

И что-то безысходное и трагическое, какъ дерзко гибнущая красота, чуялось ему въ судьбѣ той, которая шла около, опираясь на его руку.

Зерновъ зналъ, что за дѣтской внѣшностью и кудрявыми, какъ у мальчика, волосами схоронена въ этой женщинѣ таинственная и темная сила земныхъ, хищныхъ желаній и жажда безпокойной любви.

„Что же“, подумалъ Зерновъ, „на моемъ мѣстѣ будетъ другой“.

— Ты не можешь представить себѣ, говорила Сашенька про мужа,—какъ я ненавижу его. Понимаешь—всего. Я не могу спокойно ѣсть съ нимъ за однимъ столомъ, а когда онъ раздѣвается, меня начинаетъ тошнить и я просто боюсь подумать, что онъ будетъ считать ребенка своимъ, и потому будетъ его ласкать. Это ужасно!

Ясной и ласковой стояла весна въ этотъ годъ, лѣнивый снѣгъ сходилъ не торопясь и въ воздухѣ пахло потеплѣвшей сыростью.

Встрѣчи съ Зерновымъ теперь стали рѣже, потому что оба были заняты каждый своимъ, а въ городѣ много говорили о нихъ, и частыхъ свиданій Сашенька

не хотѣла сама. Ей приказано было больше ходить, и теперь она гуляла одна и всегда за городомъ, потому что показываться на улицахъ было стыдно.

За заставой городъ пропадалъ сразу. Начиналось поле. А за рѣкой вдалекѣ виднѣлась мглистая и тонкая ленточка лѣса. И когда Сашенька смотрѣла на нее, то думала о томъ, что все, случившееся съ ней въ этотъ годъ, непрочно и невѣчно, что родовъ она не вынесетъ и, можетъ быть, умретъ. И она ждала ихъ, боясь и волнуясь, и гадала о томъ, кто будетъ—мальчикъ, или дѣвочка, и никакъ не могла рѣшить, кого ей хочется больше...

Роды приходились въ іюлѣ, а за двѣ недѣли до нихъ Зернова перевели въ другой городъ и это было неожиданностью для обоихъ.

Но такъ сильно была озабочена Сашенька предстоящими родами, что прощанье вышло безъ слезъ, какъ будто Зерновъ уѣзжалъ на нѣсколько дней въ командировку, или отпускъ.

Грустить было некогда.

И роды удались, хотя и вышли тяжелыми, и когда наступили, Сашенька, стонущая и плачущая, безсознательно молилась о томъ, чтобы отъ мукъ и боли, какъ-нибудь невзначай, не проклясть ребенка. А когда онъ родился, даже перекрестилась, и всѣ подумали, что она молится отъ радости за счастливый исходъ. Сашенькѣ на минуту сдѣлалось весело, что никто не понялъ настоящей причины, но потомъ на душѣ стало опять тяжело.

Оказался мальчикъ. И теперь она подумала, что было бы лучше, если бы родилась дѣвочка, и почему-то вспомнила о Зерновѣ.

„Его бы заставить помучиться такъ!“ подумала она

и вдругъ пожалѣла ребенка, и когда его принесли, она долго смотрѣла на него и удивлялась, что онъ красный и сморщенный, и было радостно, что онъ живъ и дышитъ.

— Ни на кого не похожъ... рѣшила она и обрадовалась, что нѣтъ сходства съ мужемъ.—Впрочемъ еще рано.

Отъ волненій, пережитыхъ мукъ и безсонной ночи наступило забытье.

Большая, трепыхающая летучая мышь безшумно пронеслась мимо, внимательно посмотрѣла на Сашеньку, моргнула и уплыла. Потомъ мужъ, Григорій, схватилъ ребенка и куда-то унесъ. Гдѣ-то выли собаки. И сквозь сонъ Сашенька рѣшила, что это къ пожару.

Когда она проснулась, было утро.

Сашенька лежала и старалась представить себѣ, какое впечатлѣніе произведетъ на Зернова ребенокъ и тутъ только, въ первый разъ послѣ разлуки, у нея вдругъ явилась мысль, что онъ своего сына можетъ никогда не увидѣть, и ей стало понятно, что оффиціальный отецъ, чью фамилію ея ребенокъ будетъ носить съ этихъ поръ всю жизнь,—одинъ онъ въ цѣломъ мірѣ имѣетъ права на него и можетъ любить его, и ласкать и наказывать.

А тотъ, котораго нѣтъ здѣсь сейчасъ, какъ не было во время ея родовъ, чуждъ своему сыну и, очень возможно, встрѣтясь не узнаетъ его.

Но не грозный ужасъ передъ этой неправдой и не боль наполнили ея душу, а безсильная и упрямая злоба на мужа,—самозваннаго отца ея ребенка, который не ему обязанъ своей жизнью, и въ чьихъ жилахъ не течетъ ни одной капли его больной и испорченной крови.

Сашенька повернулась на бокъ.

Занавѣси оконъ были подняты. Сверху, прямо въ глаза смотрѣло солнце, огромное и раскаленное, какъ бѣлый серебряный шаръ. И глядѣть на него было больно такъ, что текли слезы.

III.

Вначалѣ появленіе ребенка взволновало и самого Горчевскаго. Доволенъ онъ былъ и тѣмъ, что родился мальчикъ, а не дѣвочка, потому что съ дочерьми больше хлопотъ. Но потомъ, когда Сашенька уже встала, у него начались разъѣзды, накопились дѣла и возвращаться домой ему приходилось поздно.

И отъ всего этого выходило такъ, будто онъ къ ребенку совсѣмъ охладѣлъ.

— Тѣмъ лучше, разсудила Сашенька:—рѣже видитъ, меньше и любить будетъ.

Шестого декабря, въ царскій день, занятій не было, и Горчевскій, какъ и всѣ чиновники, долженъ былъ утромъ присутствовать въ церкви, а Сашенька сидѣла дома и гадала, почему второй мѣсяцъ отъ Зернова нѣтъ писемъ.

— Должно быть, занятъ, а можетъ быть, и забылъ. Впрочемъ, онъ никогда не писалъ часто и писемъ не любитъ. Во всякомъ случаѣ—ничего серьезнаго. Если бы разрывъ, или вообще важное, онъ написалъ бы.

Дрогнулъ звонокъ, вернулся Горчевскій, и Сашенькѣ было видно, какъ онъ, не раздѣваясь, съ холоду помахалъ кистями рукъ, будто только что игралъ въ снѣжки, и обтеръ свою рѣдкую, растрепаннымъ клинышкомъ, бородку. Потомъ, все отдуваясь, еще изъ передней закричалъ веселымъ голосомъ:

— Слышала? Зерновъ женится.

Сказалъ онъ это такъ, будто сообщалъ что-то удивительное и чрезвычайно забавное, въ тонѣ словъ его слышался какой-то смѣющійся напѣвъ, и было ясно, что это только слухъ, или сплетня. Сашенька выронила шитье, за которымъ сидѣла, поблѣднѣла, голубые глаза ея расширились, тихо моргнули, и побѣжали слезы, сначала медленно, словно выходить на свѣтъ имъ было стыдно, а затѣмъ очень часто, и если не стучали онѣ, то потому только, что падали на Сашенькину грудь.

— Э-ге!.. какъ-то на одной нотѣ пропѣлъ Горчевскій.—Вотъ оно что!

Онъ постоялъ на одномъ мѣстѣ, прищурилъ правый глазъ, мотнулъ головой, будто понявъ что-то, повернулся и пошелъ въ столовую. А тамъ сѣлъ, пододвинулъ къ себѣ чей-то недопитый стаканъ и сталъ мѣшать въ немъ ложечкой, и звукъ получался такой, будто кто-то лязгаетъ зубами.

Потомъ онъ заложилъ руки въ карманы, всталъ, переступилъ порогъ спальни, пристально посмотрѣлъ на Сашеньку и сказалъ:

— Значитъ,—байструкъ?

Въ первый моментъ ее удивило это слово, но тотчасъ же она вспомнила, какъ ея горничная, поссорившись однажды съ кухаркой, такъ же, вотъ, корила ее какимъ-то байструкомъ и это значитъ—незаконный ребенокъ.

И, понятое, слово это хлестнуло ее, словно кто-то ранилъ ее въ сердце; вся приподнялась она, тихія слезы перешли въ рыданія, громкія, жалобныя и воющія, но сквозь нихъ, борясь и побѣждая печаль, зазвенѣла злоба.

На минуту стихли рыданія и страстно, въ мгновенной поспѣшности, одно за другимъ полетѣли въ лицо мужу мстящія слова обиды и ненависти.

— Гнилой! гнилой! надрываясь и захлебываясь, кричала она и вдругъ звукомъ звенящей стали у нея вырвалось:

— Подлецъ!

— А-а-а!.. тянулъ онъ отъ удушья глухимъ голосомъ.—А-а-а!.. За байструка?.. Значитъ, съ любовничкомъ... значитъ, прижили?..

Раздѣльно выходили слова, будто въ этой протяжности ихъ была своя странная, змѣиная радость.

И не успѣла она отвѣтить, полуоткрывъ разгорѣвшіяся губы, какъ онъ уже схватилъ соннаго ребенка, и раскачивая его передъ самыми ея глазами, точно собираясь куда-то забросить, шипящимъ шопотомъ грозилъ:

— Убью!.. у-у-бью-ю-ю!..

«Ю» свистѣло.

А прорвавшаяся злоба вызывающе отвѣчала ему, какъ пощечиной:

— Не твой! не твой! не смѣешь!

Онъ размахнулся и ударилъ ребенка, бросилъ его на колѣни къ ней и выбѣжалъ вонъ.

Сценъ ревности у Горчевскихъ досихъ поръ не было ни разу, и если иногда къ нему закрадывлись подозрѣнья, то оставалось не долго и были неувѣренныя и какія-то вялыя. И не обидой только, но и неожиданностью явилось для Сашеньки все, что случилось сегодня.

Мысли ея спутались, болѣлъ лѣвый високъ, и не было силъ рѣшить, что дѣлать и какъ поступить.

На языкъ уже не шли слова оскорбленія, безсильныя вытравить огромное горе и затушить огонь злобы, и только, вся вздрагивающая отъ сложнаго чувства покинутости, обиды и мщенья, тревожно молила о ти-

шинѣ и успокоеніи Сашенькина душа. Она взяла ребенка на руки и, поднявъ его къ самому лицу, стала покрывать виноватыми поцѣлуями нѣжности его глаза, и руки, и маленькое розовое тѣльце.

Но въ безсильномъ отъ волненій и усталомъ мозгу воспоминанія о Зерновѣ не вставали, и смолкнувшая, похолодѣвшая душа не тосковала, а то, что онъ женится и никогда не вернется, перестало быть сегодняшнимъ, куда-то отдалилось, и вдругъ стало давнишнимъ и забываемымъ.

Ребенокъ опять заснулъ. Стало тихо. Уплывалъ короткій день зимы и тонуло небо. Сашенька сидѣла, опустивъ руки, вздрагивала и вздыхала. Потомъ стало совсѣмъ темно и гдѣ-то, какъ воръ, осторожно заскреблась мышь. И вдругъ Сашенькѣ почудились чьи-то шаги, и съ какой-то поспѣшностью она переложила ребенка съ рукъ на кровать, внезапно откуда-то прибѣжавшая, безумная мысль вспыхнула въ усталой головѣ: „А что, если это онъ... и войдетъ сюда, и схватитъ ребенка и убьетъ... вотъ такъ... вотъ такъ...“

И ея воображенію почему-то ясно представилось, что онъ ударитъ ребенка о печку, и кровь, медленная и густая, тихо сплываетъ по бѣлому кафелю и расходится струйками по красноватому полу „Тогда что?“

И оглянувшись съ пугливымъ движеніемъ узкихъ плечъ, она припала къ теплому тѣлу ребенка, будто закрывая его отъ чьей-то мести, жестокой и злой. И тотчасъ же кто-то горячій, упрямый и толкающій на зло и безуміе приказалъ ей.

— Убей!

— Но кого же? тихо спросила Сашенька и въ тотъ же мигъ, сейчасъ же тяжело подняла свою безглазую

голову злоба, дразня человѣка и мать ихъ безсиліемъ и зовя къ преступленію...

— Кого же?..

Никто не шелъ, и умеръ въ пустыхъ комнатахъ обманчивый и крадущійся звукъ чужихъ шаговъ, и снова была тишина, отъ которой хотѣлось прятаться и бѣжать.

Откинувшись на желѣзную спинку кровати, Сашенька забылась. Но въ томъ смутномъ, какъ видѣніе ночи, и тягостномъ, какъ кошмаръ, что успѣло за минуту до этого пронестись въ ея потревоженныхъ мысляхъ, было что-то страшное, какъ преступленіе.

— Господи!.. прошептала она... Господи! Удержи руку мою!..

И во снѣ, короткомъ, чуткомъ и трепетномъ, были тѣ же видѣнія, уродливыя и черныя: своими узлистыми, растопыренными пальцами тянулся къ ней мужъ, а она дрожала и о чемъ-то молила; потомъ пальцы стали таять, сдѣлались длинными, тонкими, какъ жала, и прыгающими, и вдругъ перекинувшись передъ самыми ея глазами, закачались, будто кланялись и благодарили за что-то... И вдругъ впились въ горло ребенку...

— О-о-охъ! простонала Сашенька и проснулась, чувствуя, какъ что-то раскаленное и давящее легло на ея мозгъ...

Было уже поздно, когда Горчевскій вернулся изъ клуба. Сашенька не раздѣвалась, не спала, и ей было слышно, какъ онъ снималъ калоши въ передней, и по походкѣ его она поняла, что онъ пилъ.

Ей сдѣлалось противно и опять поднялось что-то колючее, будто отъ иголокъ.

„Неужели заговоритъ?“ ужаснулась Сашенька.

— Тоскуете? спросилъ онъ и насмѣшливо прибавилъ:—Бросилъ? А? Съ байструкомъ остались?

Она поднялась и задыхающимся надтреснутымъ голосомъ вымолвила:

— Еще одно слово и... и...

— И... и что же будетъ? усмѣхнулся онъ и при голубоватомъ свѣтѣ ночника видно было, какъ криво шевельнулся его ротъ и загорѣлись глаза зеленымъ блескомъ.

— Я убью тебя! вырвалось у нея.

— Н-н-ѣ-ѣ-тъ-съ! Раньше я его задушу!.. словно ревъ, пронесся по комнатѣ и не успѣлъ замереть, какъ мужъ подскочилъ къ кровати ребенка. Но вся трясясь отъ напряженья, она оттолкнула его и на минуту ихъ руки сплелись, будто въ единоборство за свои поруганныя права вступили эти два человѣка.

И протянувъ вдругъ освобожденную руку черезъ плечо ея, онъ еще разъ ударилъ ребенка, и тотчасъ же, въ сторону отбросивъ ее, вышелъ и хлопнулъ за собой дверью.

Синеватый кружокъ на потолкѣ, надъ ночникомъ мигнулъ, съежился и ослѣпъ.

Что-то тяжелое ударило ей въ голову; кровь поднялась къ изсохшему горлу и зазвенѣло въ ушахъ. Кровавый красный кругъ медленно закачался передъ глазами; потомъ расползся. Трепетная дрожь змѣей пробѣжала по всему тѣлу.

Мигъ погасъ въ молчаніи.

Грозная и хищная сила вошла въ нее, тяжелый туманъ всталъ въ разгоряченномъ мозгу.

— Не твой! шепнула она кому-то Темному, который стоялъ схоронившись въ углу и будто ждалъ.

— Не твой!..

И снова что-то жгучее, какъ огонь, наполнило ея сердце.

Ужъ не красный кругъ, а какіе-то золотистые маленькіе шарики закружились передъ ней; шатаясь, будто пьяная, она шагнула впередъ, подбѣжала къ кровати и какъ-то торопливо стряхнула рукой слезу, будто она была послѣдняя у ней и плакать больше было не о чемъ.

Потомъ наклонилась надъ спящимъ ребенкомъ.

— Господи, да что же я дѣлаю... мелькнуло у нея гдѣ-то въ горлѣ и не вышло наружу, но холодно было сердце и стучало, какъ желѣзный маятникъ, мѣрно и часто...

...Съ жалобой на кого-то пролетѣлъ пискъ, похожій на тоненькій свисточекъ и, грустный, слабенькій и наивный, въ темной тишинѣ присѣвшей комнаты, онъ чиркнулъ, какъ спичка и, прерванный, будто погасъ...

И стихло все...

Толко гдѣ-то мышь скреблась осторожно, какъ воръ.

Мартъ.
1903 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр
Что будетъ впереди	1
Подруги	13
Зарево	25
Въ глуши	33
Мартъ	49
Золотыя вилочки	57
У фабричной трубы	77
Однажды	95
Погибающіе	117
Власть смерти	129
Самое сильное	161
Байструкъ	189

РУБЛЬ

GENERAL BOOKBINDING CO.
78 2175T 53 005 P 6526
QUALITY CONTROL MARK